Живая история

Я. Е. Мартышевский

По скорбному пути

Воспоминания 1914–1918

Живая история (Кучково поле)

Яков Мартышевский

По скорбному пути. Воспоминания. 1914–1918

Издательство «Кучково поле»

УДК 82-94
ББК 63.3(2)52

Мартышевский Я. Е.

По скорбному пути. Воспоминания. 1914–1918 /
Я. Е. Мартышевский — Издательство «Кучково поле», — (Живая история (Кучково поле))

ISBN 978-5-9950-0631-2

Мемуары пехотного офицера подпоручика Я. Е. Мартышевского – это воспоминания об участии в Первой мировой войне, облаченные в форму художественного произведения. Отправившийся на войну в 1914 году еще совсем юным офицером и прошедший ее до конца, Мартышевский в мельчайших подробностях рассказывает об окопной жизни и эмоциях простых офицеров на полях сражений.Жестокие бои русской и австрийской армий в Галиции, братание солдат, революция, приход к власти большевиков и развал армии – все это и многое другое, пережитое автором книги, воплотилось в его мемуарах. Небанальный способ изложения позволяет читателю полностью погрузиться в мир, изображаемый автором, и увидеть мир глазами участника войны.

УДК 82-94
ББК 63.3(2)52

ISBN 978-5-9950-0631-2

© Мартышевский Я. Е.
© Издательство «Кучково поле»

Содержание

От издательства 6
Предисловие автора 9
Глава I 10
Конец ознакомительного фрагмента. 41

Яков Евграфьевич Мартышевский
По скорбному пути:
Воспоминания. 1914-1918

Российское историческое общество
Федеральное архивное агентство
ФКУ «Государственный архив Российской Федерации»

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 годы)

Издано при поддержке Фонда «Связь Эпох»

Публикуется по рукописи:
ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 475. Л. 1-443.

От издательства

Яков Евграфьевич Мартышевский – автор романа-мемуаров, русский офицер, прошедший Первую мировую войну, – называет себя Владимиром Степановичем Никитиным. Несмотря на то что имя вымышленное, полк, в составе которого герой отправляется на войну, реально существовавший – 17-й Архангелогородский пехотный. Автор описывает имевшие место в действительности боевые действия и стратегически важные места, за которые сражались солдаты этого полка.

Как бы там ни было, Я. Е. Мартышевский с точностью описывает принципы ведения военных операций, вооружение и обмундирование русских, австрийских и немецких солдат, особенности их менталитета, как очевидец, действительно наблюдавший все собственными глазами. Автору удается с пробирающей до дрожи искренностью рассказать о чувствах человека, постоянно находящегося на волоске от смерти. Описание передвижений полка, где служил автор, также полностью соответствует действительности. Кроме того, в произведении часто упоминаются имена генералов – героев Первой мировой войны: Н.В. Рузского, А. В. Самсонова, Н. Н. Янушкевича, Д. Г. Щербачева, В. Н. Сухомлинова и А. Е. Эверта, которым Я. Е. Мартышевский дает яркие характеристики, анализирует их действия, повествует об их судьбах.

Сопоставление подробностей, интересных мелочей, фактов придает ощущение реальности описанному и позволяет читателю предположить, что рассказанное не выдумка, а художественным образом выраженная действительность. Вероятно, такая подача материала была выбрана Я. Е. Мартышевским для осуществления авторской задумки: превратить дневник, отличающийся, как правило, сухостью и документальностью, в остросюжетную историю, показать изнанку войны, раскрыть внутренний мир лирического героя, которого можно соотнести с автором – человеком, пережившим все ужасы войны и воплотившим увиденное в словесной форме для будущих поколений.

К сожалению, информации об авторе сохранилось очень мало. Сведений о пехотном офицере подпоручике Якове Евстафьевиче Мартышевском не удалось найти ни в одном архиве. Более того, даже о сохранившихся сведениях сложно с уверенностью утверждать, что они имеют отношение конкретно к Я.Е. Мартышевскому. Известно только, что некий Яков Мартышевский был ранен и на время выздоровления уехал в Житомир (именно там родился главный герой романа, и туда он отправился по сюжету после ранения в ногу).

Воспоминания Я.Е. Мартышевского ранее хранились в Русском заграничном архиве в Праге, затем были переданы Государственному архиву Российской Федерации. Мемуары представляют собой рукопись на 443 листах с пометами автора и включают публикуемое ниже письмо издателю.

Милостивый государь!

Несколько лет тому назад я имел честь обратиться к Вам с письмом по поводу своей книги. Вы заинтересовались и просили прислать Вам для ознакомления. Но книга моя еще была далеко не закончена, и наша переписка сама собой оборвалась. С тех пор я продолжал свою работу, и мой труд близок к окончанию. Размер его приблизительно 200 рукописных листов. Прислать его Вам в оригинале я не решаюсь, так как боюсь, что он может где-нибудь затеряться, и мой долголетний труд таким образом пропадет. Прислать Вам копию всей книги я тоже сейчас не имею возможности, так как переписка обойдется мне очень дорого. Поэтому я решил Вам послать только несколько попавших под руку отрывков. Должен Вам заметить, что первый лист посылаемой рукописи представляет собою лишь конспект напечатанной моей книги в 1917 году (200 страниц), где подробно описаны события в Петербурге перед войной и

первые дни войны. По этим отрывкам Вы сможете составить некоторое представление о характере моей книги. И если Вы серьезно заинтересуетесь моей книгой и подарите мне некоторую надежду на то, что она в том или ином виде может быть когда-нибудь напечатана, то я готов буду сделать расход на ее переписку на машинке и даже, быть может, сам приеду к Вам в Берлин для личных переговоров. Если же для Вас моя книга не представит интереса, то пусть остается у меня и ожидает лучших времен.

Конечно, моя книга не претендует на книгу, имеющую художественную и литературную ценность, но тем не менее ее можно рассматривать как скромный памятник кровавых испытаний России в 1914–1918 годах, сколоченный неумелыми руками честного рядового русского офицера.

С совершенным почтением Я. Мартышевский
6 июля 1929 года

Latvija (Letland) Rēzeknes apr. m. Kaunata.
J. Martiševskī

По скорбному пути

Воспоминания 1914–1918

Предисловие автора

Вам, мои дорогие, славные боевые товарищи, посвящаю я свой скромный труд. Многих-многих из вас уже нет на этом свете… Кровавый туман лихолетья заслонил собой светлые тени героев. Но пройдут годы, может быть, долгие годы, и память о вас, о ваших светлых подвигах, о ваших великих страданиях и жертвах снова воскреснет в русском народе.

Спите ж, орлы боевые,
Спите со спокойной душой,
Вы заслужили, родные,
Славу и вечный покой.

Глава I
Первый бой

«Душа Моя скорбит смертельно…»
Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 38

Был июль 1914 года. Наше училище стояло в лагере в Красном Селе. Дни выдавались жаркие, однако обычные, подчас очень тяжелые занятия шли своим чередом. Мы терпеливо переносили все испытания, лишения, разного рода неприятности и суровый режим училища, так как через месяц, то есть 6 августа, все это должно было быть вознаграждено тем счастливейшим моментом нашей жизни, когда мы сможем впервые надеть офицерские погоны. Оставалось перешагнуть самую трудную, но вместе с тем и самую интересную ступень училищной службы – это маневры. Но нам не суждено было их дождаться…

11 июля среди нас, юнкеров, распространилась тревожная весть о довольно крупных беспорядках, происшедших в Петрограде (в то время еще Петербурге). Передавали, что толпы народа ходили по улицам, били стекла магазинов, останавливали трамваи и что для усмирения бунтовщиков была экстренно вызвана из Красного Села рота одного из гвардейских полков с пулеметами. Эти беспорядки начались как-то вдруг, совершенно неожиданно, и никто не знал, чем они вызваны. Кроме того, общественная жизнь в то время казалась спокойной более, нежели когда-либо. Волнения не носили характера мощного движения целого народа. Нет, это была, по-видимому, искусственно вызванная кем-то (теперь-то мы знаем, кем именно) вспышка, и потому их скоро и легко подавили. Однако никому и в голову не приходило, что эти небольшие беспорядки уже были первыми грозными признаками надвигавшейся мировой катастрофы… О войне никто не думал, даже в газетах о ней не писали ни одного слова, и политический горизонт казался чистым и ясным. Почему-то в обществе сложилось такое мнение, что если о каком-нибудь важном, могущем произойти событии много пишут и много говорят, то оно не осуществится, и наоборот. Так было в 1913 году во время «Балканского пожара»[1], когда газеты на все лады кричали о необходимости помочь нашим братьям-славянам, когда по улицам ходили толпы народа с пением болгарского и сербского гимнов, с плакатами «Долой Турцию!», «Крест на святую Софию!» и, возбужденные пламенными речами своих вожаков, с энтузиазмом требовали войны. Но голос народа, вырывавшийся из недр русской души, остался неуслышанным…

Мировая же война, как и Русско-японская, разразилась совершенно неожиданно. До самого последнего момента никто не верил в возможность столкновения с Германией. Как сейчас я помню тот день, когда впервые дрогнули наши сердца от смутного предчувствия чего-то великого, неизбежного, надвигавшегося на нас. Было около 7 часов вечера 11 июля. Солнце садилось, бросая красноватые отблески на возвышавшуюся в отдалении красивую Дудергофскую гору с ее лесистыми склонами, с хорошенькими, как игрушки, дачами и с зеркальным озером у подножия, на вытянувшийся длинный, правильный лагерь и на широкий, совершенно голый, покрытый пожелтевшей от солнца травкой артиллерийский полигон, окаймленный в отдалении, наподобие рамы, синеватыми рощами и темными, туманными очертаниями деревень. Только что кончилось тактическое учение, и наша рота расположилась на короткий отдых у Кавелахтского хребта[2]. Приятно было после утомительных перебежек полежать на земле,

[1] Имеется в виду Первая Балканская война октября 1912 – мая 1913 г. между Сербией, Черногорией, Болгарией и Грецией с одной стороны и Османской империей с другой. (*Примеч. ред.)*

[2] Кавелахтские высоты, наряду с Дудергофскими, – один из ориентиров в Красном Селе, где проходили масштабные маневры, находились летние лагеря гвардии и военных училищ. (*Примеч. ред.)*

чувствовать на своем разгоряченном лице свежее дыхание легкого ветерка, глядеть на шедший в отдалении с шумом и клубами дыма, вырывавшегося из трубы паровоза, поезд и на всю эту ласкавшую взор природу, погружавшуюся в первые, едва уловимые вечерние сумерки…

– Господа! – раздался голос нашего ротного командира с живыми карими глазами и длинными черными усами, закрученными кверху. – Продолжайте курить, а я вам укажу на те ошибки, которые вы допустили на сегодняшнем учении.

Мы прекратили разговоры и с равнодушным видом уставились глазами на своего начальника, делая вид, что слушаем его, а в действительности думая лишь о том, как бы скорее он кончил и мы пошли бы домой. Тактические занятия у нас были каждый день, поэтому они порядочно нам надоели. Ротный командир кончил говорить. Мы с привычной быстротой построились во взводную колонну.

– Господа! – снова воскликнул он, но каким-то проникновенным и торжественным голосом. – Я советую вам относиться к занятиям теперь с особой внимательностью и добросовестностью ввиду назревающих крупных событий…

При этих словах на наших загорелых, точно бронзовых лицах отразились любопытство и недоумение.

– Получены, – продолжал ротный командир, – пока еще неофициальные сведения о том, что Австрия предложила ультиматум Сербии, оскорбляющий честь и достоинство последней и даже притязающий на ее независимость; срок этого ультиматума истекает в шесть часов вечера двенадцатого июля. Австрийское правительство заявило, что оно хочет покарать Сербию за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, которое будто бы совершено по ее замыслу. Вероятно, Сербия с негодованием отвергнет австрийский ультиматум, и тогда война неминуема, ну а Россия, конечно, не даст в обиду Сербию. Нынешние беспорядки это только подтверждают. Отнеситесь, господа, к моим словам с полной серьезностью. Мы накануне величайших событий…

Речь ротного командира произвела на нас глубокое впечатление, и с той минуты мы все время находились в приподнятом настроении. Однако в войну не верилось: все это были пока только ни на чем не основанные слухи.

Так наступил следующий, знаменательный день 12 июля. Утром у нас производилось строевое ротное учение. Несмотря на раннее время, было очень жарко, и учение прошло вяло, просто отбывали свой номер. Ротный командир сердился, кричал, что это безобразие, что он не допустит так относиться к занятиям, оставит всех без отпуска и т. п., но все было тщетно. К подобным угрозам за два года пребывания в училище хорошо привыкли и потому не обращали на них ни малейшего внимания. По окончании занятий юнкера начали собираться по случаю субботы в город. Я решил пойти после обеда, который у нас был около двух часов дня. Одевшись, я уже хотел явиться дежурному офицеру, но в это время в барак поспешно вошел наш фельдфебель и громко заявил:

– Господа! Отпуска прекращены, а все юнкера, отпущенные утром, будут немедленно возвращены.

И с этими словами он вошел в свою комнату. Мы были ошеломлены.

– Что такое? Почему? – раздавались голоса.

Какой-то шутник крикнул:

– Производство!

Но на такую, как нам казалось, нелепость никто даже не обратил внимания. Большинство было склонно к мысли, что запрещение отпуска последовало в связи с возникшими в Петербурге волнениями. Это соображение мы считали самым правдоподобным, и потому все остановились на нем. Однако истинной причины никто не знал; даже наши курсовые офицеры, к которым мы, сгорая от любопытства, обращались за разъяснением, не могли сказать ничего

определенного. Но с каждым часом наши сомнения увеличивались. Неподалеку от лагеря Николай II производил смотр N-скому драгунскому полку. Поэтому многие юнкера говорили, что, вероятно, царь собирается посетить военные училища, вот почему, мол, отпуска прекращены. Но другая, казавшаяся нам маловероятной и блеснувшая как молния мысль вдруг озарила наши умы. Мы вспомнили слова ротного командира о том, что срок австрийского ультиматума Сербии истекает в 6 часов вечера 12 июля, и потому, думали мы, не хочет ли государь ответить на этот возмутительный и наглый вызов Австрии преждевременным производством в офицеры юнкеров старших курсов военных училищ во всей России и тем выразить свое неудовольствие и решимость вступиться за братскую Сербию. Радостные, неуверенные возгласы: «Производство!», «Господа! Вот видите, будет производство!» – раздавались все чаще и чаще. С нескрываемым волнением, разбившись на кучки, юнкера громко рассуждали между собой или ходили в разных направлениях, как бы ища ответа на мучившие их сомнения. Около трех часов я проходил с товарищем мимо нашей летней чайной. В это время по дорожке, ведущей в бараки, чуть не бежал весь запыхавшийся от усталости и волнения один юнкер, отец которого занимал какое-то важное место в Главном штабе. И тоном, не допускавшим никаких сомнений, восклицал направо и налево:

– Производство! Да-да! Ей-богу, правда!

Радостная весть вызвала еще большее смятение среди юнкеров, но в душе как-то не верилось этому словно с неба свалившемуся счастью. Однако в четыре часа дня все наши сомнения окончательно рассеялись. Из уст в уста передавалось приказание: «Юнкерам старшего курса надеть все новое и строиться на первой линейке». Когда я вошел в барак, там уже стояла суматоха. «Подпоручики», радостные и взволнованные, с веселыми улыбками торопливо одевались, обмениваясь своими забурлившими, как горный поток, свежими мыслями и чувствами. Наши души были преисполнены искренним и неподдельным восторгом и трепетом ожидания счастливой минуты, наряду с которым жило сознание чего-то важного и серьезного, совершившегося помимо нас… Но в этот момент мы не заглядывали в будущее, мы жили настоящим… А настоящее было так прекрасно! Ведь должно было совершиться то, чего мы ждали с таким нетерпением, ради чего мы мужественно переносили два года все невзгоды и тяготы училищной жизни. О, это можно назвать счастьем!

Когда мы построились, ротный командир сообщил, что мы идем на производство, и сказал нам прощальную речь, в которой благодарил нас за ревностную службу и пожелал успеха в будущем. Под звуки нашего училищного оркестра и с трепетно бьющимися сердцами мы пошли в Красное Село, куда должен был прибыть Николай II. К пяти часам дня на площадке против дворца великого князя Николая Николаевича выстроились в виде буквы «П» юнкера всех училищ, причем на правом фланге стояло наше училище, левее – Владимирское, за ним – артиллерийские и кавалерийские училища. Юнкеров было сравнительно мало, так как большинство из них ушли в отпуск. В ожидании государя мы тихонько, как в церкви, переговаривались между собой о неожиданном производстве, об австрийском ультиматуме, о возможности войны.

Между тем время приближалось к шести часам. Вдруг эта небольшая защитного цвета масса юнкеров вздрогнула и зашумела, как молодой еловый лес, на который набежал порыв ветра… С быстротой электрического тока передавалось: «Едет! Царь едет!» Раздалась громкая команда: «Равняйсь!» Послышался шум автомобиля, ехавшего со стороны артиллерийского полигона. Но мы ошиблись. Из автомобиля вышел очень высокого роста генерал со стройной фигурой, с тонкими длинными ногами, затянутыми в синие рейтузы. Это был великий князь Николай Николаевич. Все его несколько продолговатое лицо с орлиным носом, с этими плотно сжатыми губами, с этим выдававшимся чуть-чуть подбородком, окаймленным небольшой квадратной седой бородкой, с этими проницательными глазами, взгляд которых, казалось, расплавит того, на кого они уставятся – все его лицо, говорю я, дышало чуждой всяким слабо-

стям суровостью, решительностью и непреклонностью характера и железной волей. Возвышаясь почти на целую голову над окружавшими, он своим строгим и надменным видом казался еще выше, еще неприступнее. Сознание своей силы и мощи просвечивало во всех его движениях.

Поздоровавшись только с некоторыми генералами, Николай Николаевич запросто сел на тумбу неподалеку от нас в ожидании государя. Мы все с любовью и благоговением смотрели на этого могучего человека, которому суждено было в недалеком будущем сыграть в истории России выдающуюся роль. Как в тумане, я начал представлять себе будущие сражения, окутанные пламенем и дымом, огненные языки пожарищ, стоны и крики раненых, смешивающиеся с неумолчным громом канонады. И над всем этим я видел грозную фигуру великого князя, озаренную светом славы победителя… Еще не было войны, но ее горячее дыхание уже касалось наших душ; еще не было гигантских русских армий, но наши юные сердца уже отыскали для них полководца. И мы не ошиблись…

В половине шестого в отдалении показалось несколько автомобилей. Все засуетились.

Сейчас должен был прибыть государь. Раздалась команда: «Смирно! Равнение направо, господа офицеры!» Мы отчетливо повернули головы. В это время царский автомобиль остановился, и из него вышел Николай II. На наших лицах застыло выражение того чувства священного благоговения, которое бывает у простых смертных людей, наподобие нас, при виде особы государя. Царь обошел все училища, здороваясь с каждым в отдельности, останавливаясь против некоторых юнкеров и ласково с ними разговаривая. Затем он вышел на середину, и лицо его приняло серьезное и немного печальное выражение. Выждав несколько секунд, Николай II начал свою речь. В ней он говорил, что мы сыны доблестной и великой русской армии, что все рода войск составляют одну неразлучную семью, а потому вражды между нами не должно быть никакой. О текущих событиях монарх высказался вскользь, но по его голосу, в котором звучали решительные и в то же время грустные нотки, и по некоторым словам мы поняли, что Россия станет на защиту правого дела и поруганной чести Сербии. Сильный порыв восторга и энтузиазма объял нас. Молодая кровь закипела. Глаза загорелись зловещим огнем, огнем ненависти к невидимому врагу, дерзнувшему бросить вызов самой России. И когда Николай II, кончив свою речь, поздравил нас с производством в офицеры, в ответ раздалось несмолкаемое громкое «ура». В этом мощном русском кличе выразились все чувства, обуревавшие нас в ту минуту. Тут были и радость раннего производства, и угроза врагу, и готовность принести себя в жертву Родине… Наше «ура» было настолько искренно и могуче, что государь улыбнулся. Садясь в автомобиль, он еще раз оглянулся и отдал честь. Царский автомобиль уже скрылся, но долго еще гремело и перекатывалось в воздухе могучее «ура». Германский и австрийский посланники во все время речи Николая II стояли с потупленными головами и после его отъезда отошли в сторону, сопровождаемые нашими злобными, ненавистными взглядами. Зато находившемуся тут же французскому посланнику мы излили чувства симпатии и попросили его сняться с нами, на что он охотно согласился.

Веселые и довольные, мы строем, но свободно пошли домой. При подходе к нашему лагерю ротный командир воскликнул:

– Ну, господа офицеры, спойте в последний раз «Под знамя павловцев»!

Грянула с особым подъемом духа любимая училищная песня на мотив марша военно-учебных заведений. Юнкера младшего курса высыпали на переднюю линейку и приветствовали нас громким криком «ура». Мы кончили петь и в ответ взяли им под козырек. Минута была торжественная и в высшей степени трогательная. Какое-то особенное чувство, чувство энтузиазма, собственного достоинства, удовлетворения, сознания необычайности всего происходящего и готовность на самопожертвование – все это захлебывало, возбуждало и опьяняло нас и, наконец, вызвало то исключительное состояние духа, когда человек способен совершить

самые отчаянные, самые невозможные подвиги героизма… Так закончился знаменательный день 12 июля 1914 года.

На следующее утро я отправился на военную платформу с тем, чтобы попасть к первому поезду, отходившему на Петербург. Поезд вскоре прибыл, постоял несколько минут и, пронзительно свистнув и распуская пары, плавно двинулся дальше. Я сел у открытого окна и бросил свой последний прощальный взор на это красивое, играющее легкой зыбью озеро, по которому мы так часто в минуты отдыха скользили лодками, на наш утопающий в зелени лагерь, на нашу некогда столь оживленную, а теперь такую молчаливую и пустынную пристань… Мысль о том, что я навсегда расстаюсь с этими сделавшимися вдруг дорогими местами и что я вступаю в новую, самостоятельную фазу жизни, вызвала у меня чувство легкой грусти. Однако оно тотчас рассеялось как туман, и на смену ему явилось бодрое, жизнерадостное настроение.

По приезде в Петербург первое, что бросилось мне в глаза, – это множество молодых подпоручиков, одетых в обыкновенную юнкерскую форму, но непременно украшенную какой-нибудь офицерской вещью. У кого была офицерская фуражка или одна только кокарда, у кого блестели новенькие золотые погоны с двумя звездочками, иные успели прицепить саблю или шашку и т. п. Это произошло вследствие того, что неожиданное производство застигло врасплох портных, которые не смогли выполнить к тому времени многочисленных военных заказов, и осчастливленные, вновь произведенные подпоручики надели на себя все мало-мальски свидетельствовавшее об их офицерском достоинстве.

Между тем события с каждым часом росли. На вокзале, в трамваях, на улицах только и было разговору, что об австрийском ультиматуме. Настроение в публике делалось все более нервным, напряженным и нетерпеливым. С утра и до глубокой ночи против редакции «Нового Времени» стояла толпа, которая жадно читала последние сенсационные известия. Газеты вырывались из рук газетчиков и тут же громко прочитывались. По улицам как гигантские волны ходили тысячи манифестантов. Одна манифестация особенно сильно врезалась мне в память. Впереди шли студенты, держа в руках портрет Николая II. По сторонам несли большие белые плакаты с надписью «Долой Австрию!» и «Да здравствует армия!». А там, дальше, куда только мог хватить глаз, виднелось море человеческих голов, которые вдруг обнажились при пении «Боже, царя храни» и «Спаси Господи»… Многие опустились на колени. Затем загремело могучее, несмолкаемое «ура», раздававшееся подобно рокоту прибоя… В это время мимо проходило несколько молодых офицеров. Толпа захлебнула их своим потоком и начала подбрасывать вверх с воодушевленными криками «ура» и «Да здравствует армия!». Я созерцал эту чудную, величественную картину, в которой народ открыто выражал свои чувства, свои симпатии… Сердце мое сильно стучало, по телу бегали мурашки, а на глазах дрожали слезы восторга и умиления. Счастливейший, великий и незабвенный момент! Это был тот момент, когда впервые я изведал чувство национальной гордости, чистой и искренней любви к Родине, в жертву которой я, не раздумывая, тотчас бы принес свою жизнь.

Через несколько дней, именно 20 июля, я ехал к месту своего назначения, то есть в Житомир, в 17-й пехотный Архангелогородский полк. Поезд был битком набит публикой. Едва я оправился от пассажирской сутолоки, как мои мысли снова завертелись вокруг разыгравшихся событий. Утренних телеграмм я еще не успел прочесть, а потому и не знал, что Германия уже объявила России войну. Мне, как и большинству, последняя представлялась невероятной. Уж слишком чудовищной казалась всем война XX века с его чрезвычайно развитой техникой, и кроме того, кто выступал на арену этой величайшей борьбы? Сильнейшие и культурнейшие государства мира. Я старался прислушаться к разговорам пассажиров, но за шумом поезда и множества голосов я ничего не мог разобрать, а видел только, что все чем-то особенно возбуждены, и чаще всего до моего слуха доносилось слово «Германия». В это время стоявший

рядом со мной господин с необычайно симпатичным и интеллигентным лицом обратился ко мне с вопросом:

– Что, поручик, в полк едете? Ну, дай вам бог хорошенько побить немцев, чтобы они надолго запомнили, каково воевать с Россией!

При этих словах у меня на лице, вероятно, выразились немалое удивление и беспокойство, потому что мой собеседник тотчас же горячо прибавил:

– Как, разве вы не знаете, что Германия объявила войну России? Да-да, еще вчера в семь часов двадцать минут вечера.

Эта новость поразила меня как громом. Свершилось: невозможное стало возможным. Вскоре я распрощался с любезным господином, так как он слез на третьей станции от Петербурга. С этого момента у меня появилось другое настроение, подобное тому, которое испытывает человек в театре после поднятия занавеса. Пока еще занавес опущен, вы сидите в кресле или ложе в ожидании начала действия. Внешне вы ничем не проявляете своего нетерпения, но в душе вам не терпится, вам хочется скорее увидеть декорированную сцену, артистов или услышать их пение, но все-таки пока еще вы живете своей собственной жизнью. Раздаются звонки, и, наконец, занавес бесшумно поднимается. Сразу же у вас настроение меняется. Вы забываете обо всем; ваши мысли, ваши чувства, как и ваше зрение, вы устремляете на сцену, и в ту минуту вы совершенно сливаетесь с нею…

Нечто в этом роде произошло и в моей душе после того, как я узнал об объявлении Германией войны России. Бурные, томительные ожидания чего-то великого, исторического, надвигавшегося на нас как далекая, мрачная туча, наконец получили свое объективное выражение. Война! Да, война! Настоящая, грозная война! И никаких сомнений, возврата нет! Германия бросила вызов России, и Россия с сознанием своей мощи и правоты приняла его.

Между тем пассажиры начали кое-как устраиваться. Я тоже приискал себе местечко. Напротив меня сидел штаб-ротмистр в пенсне, с приятным и чистым лицом, покрытым легким загаром, и с темными умными глазами, которыми он часто и нервно моргал. Вскоре между нами завязался очень интересный разговор о сараевском преступлении, о его политической подкладке, об участии в нем австрийского правительства. Мы радовались тому, что Германия, возлагавшая такие большие надежды на вызванные ею же беспорядки, жестоко ошиблась, так как вслед за объявлением мобилизации их как рукой сняло. Во все время разговора никто из нас даже не намекнул о результате вспыхнувшей войны. Победа России подразумевалась нами несомненной, как аксиома. На одной из станций наш поезд почему-то очень долго стоял. Штаб-ротмистр пришел в негодование.

– Ну разве не досадно, – воскликнул он, – торчать тут три-четыре часа, между тем как это время я с пользой провел бы у себя в полку, находящемся теперь на театре военных действий! Вот у немцев, вероятно, этого нет.

В тот момент я не оценил по достоинству эту фразу, но впоследствии она многое мне сказала. В ней, как в зеркале, отразились те высокие чувства чести, долга, стремление поскорее сразиться с ненавистным врагом, тот глубокий лучезарный патриотизм, которым горели наши русские сердца; но наряду с этим в той же фразе я увидел далекий отклик печальной русской действительности… О, светлые, святые дни! Дни веры, дни воскресения великого духа народного, дни неведения…

Утром 22 июля я приехал в Житомир. Дома мои родные встретили меня с большой радостью, но с оттенком тайной печали, которая просвечивала во всех их словах и жестах.

– Не успели произвести в офицеры, как уже иди на войну… – со вздохом проговорила моя старушка-мать.

Я старался придать себе самый беспечный и непринужденный вид. Впрочем, я и на самом деле в то время был таким. Я не думал о войне, а если и думал, то как-то легко, поверхностно,

совершенно не отдавая себе отчета в тех лишениях, невзгодах и страданиях, которые мне предстояло перенести. Чувства мои были примитивны, так как я не знал истинного значения и смысла слова «война». С кадетской скамьи я привык относиться к ней с уважением и священным трепетом. Я знал, что там люди проливают кровь и умирают. В моем воображении картина войны рисовалась в ярких, светлых тонах, и даже сама смерть не бросала на нее свою мрачную тень. Я был счастлив тем, что приближался день, когда мои лучшие мысли, лучшие пожелания воплотятся в действительность, когда заветная моя мечта – принять боевое крещение, испытать счастье самопожертвования – наконец осуществится. В день моего приезда наш полк, доведенный до полного состава, выступал в поход в 11 часов утра. Так как я не успел еще приготовить некоторых необходимых на войне вещей, поэтому я решил нагнать полк в Бердичеве, куда он должен был прибыть на рассвете следующего дня для перевозки по железной дороге. После дороги я очень устал, но я горел желанием поскорее хоть издали увидеть ту часть, с которой мне суждено было разделить боевые труды. Когда я пришел, полк уже выстроился как для парада. Солдаты в новой одежде защитного цвета и в полном походном снаряжении, неуклюже сидевшем на них, выглядели бодро и молодцевато. Я стал в стороне и наблюдал за всем, что происходило. Но в первый же момент меня постигло легкое разочарование. Ведь это были проводы полка! Лучшего, прославленного русской военной историей полка, сроднившегося с Житомиром долголетним пребыванием в нем. И что же? В этот последний, прощальный момент я не видел никого из интеллигентных граждан, я не услышал ни одного теплого слова напутствия и пожелания победы… И лишь простые деревенские мужики и бабы пестрой толпой стояли в некотором отдалении от полка. Многие из них пришли, быть может, за десятки верст для того, чтобы хоть одним глазом взглянуть напоследок на родного сынишку и послать ему издали свое родительское благословение. Начался молебен. Солдаты набожно крестились. Их лица были торжественны и серьезны. По окончании молебна командир полка сказал простую, но трогательную речь, в которой выразил надежду, что все чины полка с честью выполнят свой воинский долг, громко крикнул:

– Полк, шагом марш!..

Родственники и родные офицеров принялись торопливо прощаться с ними, благословляя их с едва удерживаемыми рыданиями и мокрыми от слез глазами. Пронеслась команда «на плечо». Грянула музыка и под грустные звуки «Тоски по родине» полк начал вытягиваться по дороге наподобие зеленой змеи. Многие солдаты набожно крестились… Толпа провожала их криками «ура», но какими-то сдавленными, прощальными… Мне сделалось почему-то тяжело. Хотелось плакать… Я быстро пошел домой. Все тише и тише становились и замирали далекие звуки марша… Вскоре они совсем затихли, я оглянулся. Поднимая по дороге пыль и сверкая тысячами штыков, медленно ползла эта грязная серая лента… «Боже, благослови их!» – мелькнуло у меня. Придя домой, я объявил, что собираюсь уехать сегодня же вечером. Все очень удивились и начали меня упрашивать остаться в родном кругу еще несколько дней, но я при всем своем желании не мог этого сделать, так как боялся потерять полк из вида, и потому мое решение было твердо и неизменно. С той минуты на нашу семью легла словно какая-то тень. Как скрываются солнечные лучи за набежавшим облаком, так вдруг исчезли улыбки, озарявшие прежде спокойные, радостные, дорогие мне лица. Не было слышно громких разговоров, перестали звенеть беззаботные детские голоса моих маленьких сестренок. Их живые, веселые натуры съежились, затихли, невольно подчиняясь тому сдержанно-грустному, траурному тону, который над всеми навис как темная туча. На дворе начал накрапывать мелкий дождик, и от этого стало еще тоскливее. Все принимали деятельное участие в приготовлении моих походных вещей, состоявших из маленького саквояжа и постели. Глубокомысленно советовались о том, что нужно взять и что не нужно. Вначале я был совершенно спокоен и равнодушно взирал на все окружавшее, нисколько не думая о минуте разлуки, а если и вспоминал о ней, то старался не поддаваться сентиментальным чувствам. Но чем ближе подходило

время к роковому моменту, тем сильнее шевелился и давал знать о себе какой-то беспокойный ноющий червячок, который подползал к моему сердцу и начинал беспощадно, до боли его сосать… Что-то тяжелое, неприятное и одурманивающее поднималось со дна души, ударяло в голову и распространялось по всему телу. Мысли и чувства плохо стали повиноваться мне. Я принялся ходить по комнатам без всякой цели, чего раньше со мной не случалось. Я втайне смеялся над собой, над своей слабостью, ругал себя за то, что не имел сил сдержать и потушить разгоравшегося во мне небывалого волнения, хотя до отъезда оставалось еще несколько часов. Но ничего не выходило, я не мог успокоиться и казаться совершенно равнодушным; я уже был выбит из колеи, и душевное равновесие мое нарушилось…

Между тем подали обед. Сели за стол молча, без обычной суеты и смеха, чинно и важно, как никогда прежде. Всякий бессознательно думал так: «Вот мы все собрались вместе и ведь, может быть, в последний раз». Эта натянутость и невольное уважение, выражаемое мне как бы по взаимному молчаливому уговору, уважение, от которого веяло холодом могилы, было мне неприятно, оно даже раздражало меня. Однако я прилагал все усилия к тому, чтобы казаться спокойным и непринужденным. После обеда ко мне подошла мама и, нежно обвив мой стан рукой, увлекла меня в свою комнату. Я молча повиновался, но чувствовал, что это в связи с моим отъездом на войну. Уже в ту минуту я начинал сознавать всю тяжесть предстоящей разлуки. Пока были только лишь неприятные предвестники ее, как легкие облачка, бегущие по небу впереди надвигающейся в отдалении грозовой тучи, как первое дуновение готового налететь урагана… Войдя в комнату, мама прикрыла дверь. Ее доброе морщинистое лицо было грустно. Дрожащей рукой она взяла со стола написанную на листке бумаги молитву «Перед боем» и серебряную цепочку с образками, которые носил еще мой отец в Русско-японскую войну, и хотела что-то сказать, но не смогла, так как слезы сдавили ей горло, она успела только выговорить: «Вот тебе…» В это время я с сильно бьющимся сердцем и с дрожью во всем теле опустился на колено и с глубокой верой поцеловал образки, надел их на себя. Когда я встал, волнение у меня немного улеглось, а показавшиеся было на моих глазах слезы я тотчас же вытер и, взяв свои серебряные часы, каким-то глухим голосом произнес:

– Эти часы передашь Коле[3] в случае, если…

Мама остановила меня торопливым жестом руки и спокойным, несколько строгим голосом сказала:

– Зачем так говорить? Даст бог, ты благополучно вернешься, и часы будут по-прежнему твои.

Эта простая, но справедливая фраза пристыдила меня. Действительно, я оказался более сентиментальным, чем мать-женщина. Я даже немного сконфузился.

Около пяти часов к нам пришли два молодых офицера К. и Г., окончившие вместе со мной училище, но взявшие вакансии в другой полк. Таким образом, считая моих родных, приехавших меня проводить, собралось довольно значительное общество. Сели пить чай и оживились. Поднялись шумные разговоры, расспросы. К. играл на мандолине, я ему аккомпанировал на гитаре. Одним словом, на некоторое время воцарился один из тех приятных и уютных семейных вечеров, которыми так богата наша будничная жизнь. Всем, казалось, было приятно отряхнуться от тягостного настроения, появившегося у каждого в связи с моим отъездом. Я тоже весело болтал и так разошелся, что даже начал играть на гитаре похоронный марш. Мой двоюродный брат Коля с укоризненной улыбкой остановил меня словами:

– Брось, Володя, и без того у нас на душе тяжело, особенно у твоей мамы, а ты еще больше бередишь ее рану…

Я тотчас же опомнился и рассердился на себя за то, что корчил собою легкомысленного мальчишку. К. и Г. вскоре ушли, так как, узнав о моем предстоящем отъезде, сочли неудобным

[3] Мой двоюродный брат. (Здесь *и далее, если не указано иное, примеч. авт.)*

присутствовать при разлуке. Наступил томительный памятный вечер. Время приближалось к 10 часам. К этому моменту должен был приехать за мной автомобиль. В доме стояла какая-то жуткая тишина, нарушаемая только чьим-нибудь вырвавшимся всхлипыванием да глухими звуками шагов некоторых из присутствовавших, которые от волнения ходили по комнатам, вытирая навертывавшиеся против воли слезы… Все, как бы по уговору, молчали, да и о чем же было говорить? Всяк сознавал, что чувства, охватившие всех присутствующих, не могли быть выражены никакими словами. У меня на душе было тошно и мучительно тоскливо. О, эти гнетущие, кажущиеся бесконечными минуты ожидания! Я хотел только одного: чтобы скорее приехал автомобиль, и я мог бы наконец освободиться от тяжести, которая давила на меня, как камень. И вдруг мне сделалась чрезвычайно ясной мысль, что так, вероятно, и на войне: ожидание смерти гораздо больнее переживать, чем самую смерть. В это время с улицы донесся глухой, рокочущий звук мотора.

– Автомобиль! – каким-то страдальческим голосом воскликнула мама, и я видел, как она изменилась в лице.

При этом слове сердце мое екнуло. Все чего-то засуетились, заходили, задвигали стульями. Я пошел в соседнюю комнату одеваться в походное снаряжение. Я чуть не до крови кусал себе губы, но, несмотря на это, слезы не слушались меня и тихо струились из глаз… Когда я одевался, мама приблизилась ко мне, нежно обняла и, положив голову на мое плечо, прошептала:

– Смотри ж, Володя…

Но рыдания душили ее, и она только крепче стиснула меня в своих объятиях. Я видел, что каждая минута промедления болью отзывается в сердце моей матери, и потому, всеми силами сдерживая клокочущее волнение, я произнес:

– Ну, я готов!

И с этими словами я вышел в гостиную, где собрались провожающие.

– Сядем! – раздался тихий и печальный голос мамы.

Все по обычаю сели, заерзав стульями, и на мгновение воцарилась гробовая тишина. Это была самая тяжелая минута моей жизни. Как сейчас помню группу дорогих мне людей, которые сидели с опущенными вниз глазами и изредка вытирали платком набегавшие слезы. Помню, как на меня уставились глазенками, полными слез, мои дорогие сестренки. Их милые, наивные личики выражали неподдельное горе и страх перед совершающимся неотвратимым событием, и их детские неиспорченные души были преисполнены ужаса и трепета не меньше, чем у взрослых. Вдруг среди напряженной, жуткой тишины раздались громкие истерические звуки… Это наконец, не выдержав, зарыдала мать. Сердце мое готово было разорваться на части. Я никогда не мог равнодушно слышать, как плачет взрослый человек. Как-то инстинктивно я почувствовал, что момент наступил. Я встал и осенил себя крестным знамением. Все присутствовавшие тоже поднялись вслед за мной и торопливо начали креститься. Я подошел к маме и упал к ней на грудь. Тут я дал волю своим слезам, которые вырывались наружу горячими, быстрыми потоками. И чем больше я плакал, тем легче становилось на душе. Мама рыдала громко, осыпая мое лицо крепкими поцелуями, и что-то говорила мне, чего я не мог разобрать. Наконец она меня благословила, и я начал прощаться с остальными. Затем все вышли на двор проводить до автомобиля, который тихо ворчал и сверкал во мгле двумя яркими огнями, готовый ринуться вперед и унести меня прочь от родного гнезда. Казалось, само небо, мрачное и темное, как ночь, разделяло человеческую скорбь, посылая сверху, точно слезы, мелкие, холодные капли дождя… Я шел впереди под руку с мамой, не переставшей громко всхлипывать.

Наши соседи К-ие вышли на крыльцо и тоже плакали, выражая мне пожелания счастливой дороги и скорого благополучного возвращения. Около автомобиля я остановился и еще раз обнял мать. Вероятно, этот момент сильнее всего на нее подействовал, так как она впала в истерическое состояние и, вцепившись в меня руками, кричала:

– Не пускайте его! Ради бога, не пускайте! О-о-о-о-хо-хо-хо!.. Нет!.. Нет!.. Куда?.. Зачем?! Боже мой, Боже мой!..

Я с трудом вырвался из ее рук и, крикнув всем «Прощайте!», вскочил в автомобиль. Дверца со стуком захлопнулась, и, заревев мотором, автомобиль рванулся вперед… Оставив позади, быть может, навсегда все, что было дорого и близко моему сердцу, он понесся туда, куда призывали меня долг службы и честь Родины.

Когда я приехал в Бердичев, наш полк уже грузился. Несмотря на позднее время, зал 1-го и 2-го классов был полон военными, преимущественно офицерами. За одним из столиков сидел командир нашего полка, полный, с крупными чертами лица и в больших толстых очках, которые придавали ему в некотором роде внушительность и важность. В нем не было ничего, притягивающего к себе или сразу располагающего в свою пользу, но тем не менее он производил впечатление человека умного. Я подошел к нему и представился. Он пробормотал мне какую-то обычную в подобных случаях любезность, что-то вроде «очень рад», и сказал обратиться к адъютанту. Поклонившись, я отправился искать последнего. Сухой прием командира неприятно меня поразил. Неужели у него не нашлось ни одного теплого слова, которым он мог бы приветствовать и ободрить молодого, неоперившегося офицера, каковым был я, попавшего со школьной скамьи чуть не прямо в бой и не успевшего еще даже взглянуть на Божий мир?

Адъютант с большими русыми усами, опущенными книзу, как у Тараса Бульбы, показался мне симпатичным и добрым человеком. От него я узнал, что я назначен во 2-ю роту. Усталый и разбитый от недавних сильных переживаний и бессонной ночи, я вышел на платформу, чтобы найти свой эшелон. Уже рассветало. Свежий, насыщенный утренней росой ветерок ударил мне в лицо. На товарной платформе было большое оживление. Слышались крики и понукания солдат, старавшихся загнать в вагоны фыркавших и хрипевших лошадей; с грохотом грузились повозки и походные кухни; изредка как-то суетливо, с шумом проходил, шипя и поражая слух резкими свистками, маневрировавший паровоз.

Оказалось, что мой батальон уже давно отправлен, поэтому я сел в первый попавшийся эшелон, с величайшим удовольствием вытянулся на мягком диване вагона 2-го класса и тотчас же заснул. Проснулся я тогда, когда поезд уже стоял у станции 3., где высаживался наш полк. Взяв свой походный тюк, я вышел на пути. В это время мимо проходил какой-то офицер нашего полка с простоватым, но симпатичным лицом. Увидев меня, он остановился и, протягивая мне руку, дружелюбно проговорил:

– Здравствуйте! Позвольте представиться, поручик Пенько! Вы в какую роту назначены?

Я сказал, что во вторую.

– А-а, ко мне! Отлично, отлично! – и при этих словах он приветливо улыбнулся. – Ну что же, идите теперь отдохните, пока есть возможность. У вас больше вещей нет? Мы сейчас возьмем какого-нибудь молодца, и он поможет вам их донести до станции. Послушай! Эй, земляк, тащи, брат, вещи его благородия! – обратился мой ротный командир к проходившему мимо солдатику и затем, подав мне руку, проговорил: – Ну, пока до свидания! Наш батальон стоит в деревне Сычи, в двух верстах отсюда.

Около станции я нанял бричку и, расположившись в ней поудобнее, весело крикнул вознице:

– Погоняй! В Сычи!

Низенькие, но хорошо откормленные, добродушные лошадки резво побежали, пофыркивая и позванивая мелодичным колокольчиком, выговаривавшим «динь-линь, ди-линь, дилинь». Мы ехали по широкой лесной дороге, по сторонам которой стояли тесной толпой высокие стройные ели. Солнце только что зашло. Сумерки торопливо сбегали на землю, сгущаясь в лесу и наполняя его таинственной темнотой. В воздухе, еще не успевшем остыть от дневной

теплоты, пахло смолой. Изредка тишину прерывали раздававшиеся со стороны станции пыхтения и сопения паровозов и свистки, откликавшиеся продолжительным эхом.

Ах, в этот момент так хорошо, так легко и так вольно дышалось! Казалось, я забыл, куда и зачем еду… Война?! Но так тихо, так мирно и прекрасно было все вокруг! Нет, тогда я еще не понимал, не сознавал всего ужаса, который выражался одним только словом «война», либо она пока не вылилась для меня ни во что реальное…

Уже совсем стемнело, когда я подъехал к огромному барскому дому с усадьбой. В нем поместились офицеры нашего батальона. Так как все комнаты оказались занятыми, то я решил переночевать на чердаке, не уступавшем, впрочем, по чистоте любой комнате, и приказал стоявшему вблизи и отдавшему мне честь солдатику снести туда мои вещи. Спать еще не хотелось, поэтому я вышел в сад немного погулять и отдаться на время самому себе. Был уже поздний час вечера, и потому никто не нарушал моего уединения. Дом, погруженный в глубокое молчание, казался еще более мрачным благодаря закрытым ставням, сквозь щели которых в некоторых окнах пробивались узенькие полоски света. Едва я отворил калитку сада, как мне в лицо пахнуло сильным до приторности ароматом цветов. Передо мной раскинулся пышный цветник, состоявший преимущественно из белых флоксов. Вокруг стояла та напряженная, полная таинственности тишина, когда слышишь шелест упавшего листа, случайный треск ветки, чей-нибудь шорох, биение собственного сердца и далекий-далекий лай собак. Опьяненный чудным запахом цветов и возбужденный теплой волшебной ночью, я ходил медленными шагами взад и вперед между клумбами и старался думать… но мыслей не было, было только чувство. Я чувствовал, что мне хорошо, я не понимал, что именно хорошо, все хорошо: и эта прекрасная, царственная ночь, и этот напоенный ароматами воздух, и эти белые благоухающие цветы, вытянувшие свои головки, словно для поцелуя, к беспредельному, усыпанному, как блестками, яркими звездами небу, и этот молчаливый темный дом… Все! И война?.. Но я не нашел ответа в своей душе. В задумчивости я иногда останавливался перед какой-нибудь клумбой и любовно глядел на красивые, неподвижные цветы. Я смотрел на окружавший меня мир, но странно, смотрел на него уже не так беззаботно и радостно, как раньше. В этом уединении с природой я молча и почти бессознательно посылал ей как бы прощальный привет; ведь впереди был непроницаемый мрак неизвестности…

На следующий день рано утром наш полк начал собираться в поход. Впервые я увидел свою роту и свой третий взвод, куда я был назначен. С шуточками и веселым смехом, покуривая махорку и пристраивая на себе неуклюжие вещевые мешки, солдаты выходили из-за деревьев сада, где они ночевали, и строились во дворе помещичьего дома. Мне было приятно смотреть на мужественные уютные лица солдат и сознавать, что с этими простодушными и добрыми людьми я пойду в смертный бой. Они, в свою очередь, дружелюбно на меня поглядывали, готовые, казалось, исполнить каждое мое слово. Когда рота построилась, из дома вышел ротный командир. Я скомандовал:

– Смирно!

– Здорово, братцы, вторая рота! – весело воскликнул он.

В ответ послышалось радостное:

– Здравия желаем, ваше благородие!

– У вас, кажется, еще нет денщика? – обратился ко мне поручик Пенько. – Ага, ну, сейчас… Тумаков! (Это был мой взводный унтер-офицер.) Дай-ка вот их благородию хорошего и надежного человека.

– Франц Романовский! Выходи! – вызвал тот.

Ко мне подошел совсем еще молодой на вид, безусый, с длинным носом солдатик действительной службы, как я узнал потом, литовец. По лицу и по манерам сразу можно было заключить, что он был тихий и скромный человек, поэтому я охотно согласился взять его к

себе в денщики и приказал ему идти к моим вещам. В это время вынесли знамя. Поручик Пенько скомандовал:

– Смирно! Под знамя слушай, накраул!

Оркестр заиграл встречный марш. Радостно забилось мое сердце и гордостью наполнилась душа при виде этой полковой святыни, завернутой в чехол защитного цвета и украшенной наверху Георгиевским крестом, символом былой славы и доблести нашего старого полка. Вскоре под звуки музыки полк потянулся по пыльной дороге вдоль деревни, провожаемый любопытными взглядами и пожеланиями жителей, высыпавших из своих хат. Ребятишки пестрой гурьбой бежали за оркестром, мужики и парни с достоинством поглядывали на проходивших солдат, и только бабы, подперев подбородок рукою, с грустью и со слезами на глазах смотрели на эти серые, однообразные ряды людей. Их материнские сердца обливались кровью при мысли, что вот и их сыновей возьмут в солдаты, а может быть, уже и взяли, и они будут также идти неведомо куда и вернутся ли назад… Но слезы баб вызывали у солдат только смех и веселые шуточки.

– Ну чего, родимая, плачешь? Аль глаза на мокром месте?! – кто-то задорно крикнул из нашей роты.

Послышался легкий смешок.

– Да что ж ей окромя и делать-то, как не плакать, в аккурат дело бабье! – отозвался другой.

Утро было прекрасное. Солнце только что вставало, купая в своих золотых лучах влажные от росы поля, на которых желтела уже созревшая рожь? Я шел с большим удовольствием. После тяжелого училищного мешка, скатки и винтовки идти теперь при одной только шашке было легко и свободно. В тот же день я промок до ниточки, так как оставил свой дождевой плащ у Франца. Но это обстоятельство нисколько меня не смутило. «Ничего, – утешал я самого себя, бодро шагая под проливным дождем, – лишний раз выкупался; на то и война: тут и помокнешь, и поголодаешь… Все надо испытать».

Поход был очень трудный. Иногда в день делали 30–35 верст. К концу дня солдаты обыкновенно еле волочили ноги, и немудрено, ведь им приходилось тащить на себе амуницию и снаряжение, которые, вероятно, весили пуда два, если не больше. Однажды переход выдался особенно тяжелый. Выступили в пять часов утра, шли целый день. Уже начало смеркаться, а оставалось пройти несколько верст. Полк остановился на короткий привал. Я в изнеможении опустился на землю. Я чувствовал страшную усталость и, кажется, полжизни отдал бы за то только, чтобы отдохнуть и не идти дальше. Во всем моем теле разлилась сладкая истома. Но едва я полузакрыл глаза, как послышались голоса:

– Пошли! Вперед!

Я тотчас же вскочил на ноги, стряхнул с себя минутную слабость и принялся подбадривать и подгонять солдат. Измученные, потные, нагруженные как вьючные животные, люди с трудом поднимались с земли и, шатаясь, плелись вперед.

– А что, ваше благородие, далече нам еще осталось идти? – спросил меня шедший рядом со мной запасный с широкой окладистой русой бородой, с длинными обвисшими усами, серыми узенькими глазками и вздернутым немного кверху мясистым носом.

При этом вопросе в мою сторону с любопытством обернули головы все находившиеся поблизости солдаты. Когда я сказал, что до деревни, где мы должны были расположиться на ночевку, осталось еще верст шесть, многие даже вздохнули.

– Очень тяжело, ваше благородие, – продолжал тот же солдатик. – Так-то оно ничего, можно и зайти, только вот не обедамши того… трудно.

Я промолчал. Действительно, люди целый день ничего не ели, так как командир полка приказал приготовить им горячую пищу по приходе на место ночлега. Мне сделалось стыдно за наше нерадивое начальство и бесконечно жаль этих простых, терпеливых тружеников – рус-

ских солдат, привыкших молча и безропотно переносить все, что бы ни выпало на их тяжелую долю. Я искоса поглядел на колыхавшуюся около меня зеленоватую живую массу солдат, среди которых, несмотря на голод и усталость, раздавались иногда веселые восклицания и смех, и подумалось мне, как велика, как могуча должна быть сила, сколотившая в одно нераздельное целое множество самых разнообразных и чуждых друг другу людей и двигавшая их туда, где широкими потоками будет литься человеческая кровь и где смерть соберет богатую жатву… Но вспыхнувшая как далекая зарница мысль быстро погасла. В то время подобные вопросы меня не волновали, я весь отдался настоящему, а настоящее было именно такое, о каком я мечтал со школьной скамьи. Все, что раньше я мог только себе вообразить путем прочитанных книг и собственной фантазии, я начинал испытывать в действительности. Осуществлялась моя сокровенная и заветная мечта – война. Самый поход хотя пока и ничем почти не отличался от обыкновенных мирных маневров, но сознание того, что это военный поход и что скоро издали донесется настоящая орудийная канонада, придавало ему совсем другой характер.

2 августа под вечер мы пришли в деревню Ракитовку. Усталый и запыленный, я опустился на скамейку около чистенькой хаты с белыми стенами, которую квартирьеры отвели для офицеров нашей роты. Я сидел и с наслаждением созерцал скромную, но милую сельскую картину. Вокруг меня раскинулся маленький фруктовый садик, огороженный плетнем; под низкими окошечками хаты пестрели красные цветы; по широкой улице, покрытой местами зеленой травкой, разгуливали полуобщипанные гуси; где-то кудахтала испуганная курица; вот из соседнего дома быстрой легкой походкой вышла по воду баба с коромыслом и двумя болтавшимися на нем пустыми деревянными ведрами; солдаты с довольными, серыми от пыли лицами сновали в разные стороны. И над всей этой мирной картиной сияло всегда прекрасное заходящее солнце, рассыпая повсюду свои тончайшие нити…

Василий развязал мои вещи и дал мне умыться. После этого я с необыкновенным аппетитом принялся за кислое молоко, которое баба-хозяйка дала, принесла прямо из погреба. «Совсем как на даче», – подумал я. За это время я успел ближе познакомиться с офицерами нашей роты. Часто после обеда мы забирались на свои походные постели и начинали беседовать и нередко даже спорить. Мой ротный командир поручик Пенько оказался человеком довольно заурядным. Правда, как офицер он был прекрасный, но в то же время на нем лежала та печать пошлости, которая присуща подавляющему большинству людей. Весь его идеал, казалось, можно было выразить тремя словами: обладание хорошенькой женщиной. К религии он относился равнодушно и даже пренебрежительно. Все, что касалось нравственности, вызывало в нем насмешку и иронию. Он не был женат и на семью смотрел с отрицательной точки зрения, видя в семейном очаге стеснение своей свободы. Пить не особенно любил, но в карты грешным делом поигрывал. Характер имел он вспыльчивый и неровный. Но при всех этих недостатках было что-то в его личности симпатичное, какая-то подкупающая простота и честность, за которую офицеры в полку его любили и уважали. Другой сослуживец нашей роты был прапорщик запаса Ракитин с подстриженными усами и довольно тонкими правильными чертами лица. Говорил он, немного шепелявя. Как офицер он производил неважное впечатление, и впоследствии его не очень хвалили. Судя по разговорам, он казался весьма неглупым человеком. Был женат и имел двоих детей. Ничего особенно дурного я в нем не замечал, но вообще он мне не нравился. Однажды он нам откровенно признался, что любил посещать вместе с женой петроградские кафе-шантаны. Я с удивлением заметил ему, как можно с женой бывать в таких местах, где фигурирует тот же разврат, только в иной, более утонченной и красивой форме? Но прапорщик Ракитин столь горячо и столь убежденно доказывал мне, что он находит это вполне естественным и нормальным, что я и не пытался его разубеждать.

С первого же дня выступления в поход мне пришлось сожалеть о том, что я не захватил с собой из дома ни конфет, ни варенья и ничего съедобного. Уезжая на войну, я почему-

то воображал, что придется питаться в большинстве случаев сухарями или солдатской пищей и вообще чем попало. Каково же было мое удивление, когда во время остановки в одной деревне поручик Пенько угостил нас хорошим шоколадом, печеньем, вином и т. п. Тогда еще я был любитель всяких сладостей, поэтому при первом же удобном случае решил накупить их побольше. Так как в деревне Ракитовке мы предполагали простоять еще несколько дней, то я, испросив разрешение у командира полка, поехал на крестьянской телеге в местечко Янполь. Ехали проселочной дорогой. Вокруг желтели сжатые поля, на которых щедрой рукой природы были раскиданы копны хлеба. На мгновение я почувствовал себя не офицером великой русской армии, раскрывшей свои могучие крылья навстречу дерзкому врагу, а тем спокойным, любящим природу человеком, каким я был еще так недавно, живя в деревне. Но оклик: «Стой! Кто едет?» – сразу вернул меня к действительности. У дороги в нескольких десятках шагов впереди стоял солдат, едва различимый среди зеленых кустов благодаря своей защитной одежде. Вся его фигура и лицо выражали сознание собственного достоинства и силы. Убедившись в том, что я офицер, он молча указал рукой на дорогу и стал смирно. По приезде в местечко Янполь я начал делать различные закупки, кстати сказать, денег в то время у меня было порядочно. Когда я вошел в аптекарский магазин, ко мне приблизился, звеня шпорами, с весьма объемистой фигурой кавалерийский офицер.

– Здравствуйте, здравствуйте! Вы ведь семнадцатого полка? – начал он, крепко пожимая мою руку и улыбаясь во весь рот. – Ну что ж, скоро пехота придет к нам на помощь? Ведь наши драгуны о-го-го как далеко отсюда! И здорово работают! На голову разбили австрийскую дивизию, честное слово! Д-да, слава богу, прогнали швабов далеко. Нет, батеньки мои, куда там австрийской коннице тягаться с нашей!..

При этих словах мое сердце радостно забилось от счастья, гордости и упоения первой победой.

В течение почти двухнедельного стояния в Ракитовке я успел приглядеться также к офицерам нашего полка. Всех их можно было, собственно говоря, разделить на три группы. К первой относились старые кадровые офицеры, ко второй – молодые, вновь выпущенные подпоручики, «фендрики», как нас называли в полку, и, наконец, последнюю составляли прапорщики запаса. Из старых офицеров мне нравился командир нашего батальона подполковник Бубнов. Он отличался большой строгостью, немилосердно бил солдат, но, несмотря на это, последние его любили. Мы, «фендрики», дали ему весьма удачное прозвище «волк». Действительно, все: и лицо, и волосы, и глаза, были у него серые. Когда он смеялся, большие белые зубы оскаливались, как клыки рычащего волка. В его холодном проницательном взгляде и в спокойных самоуверенных движениях была видна железная воля, перед которой, казалось, нет преград.

Как человек очень религиозный я, естественно, интересовался личностью нашего полкового священника. При беглом взгляде на него он производил приятное впечатление. Высокого роста, худощавый, с длинной седой бородой, с толстой палкой в руках наподобие посоха он напоминал собой какого-нибудь благообразного и благочестивого старца. Так и казалось, что у этого человека, одной ногой стоящего в гробу, не может быть иных мыслей, кроме мысли о Боге, о вечной жизни, и что земные интересы для него не существуют. «Вот истинный духовный отец, – всякий раз думал я, когда видел его сухощавую, высокую фигуру. – Вот неподкупный врачеватель христианских душ, и, вероятно, немало умирающих на поле брани героев нашего полка найдут свое последнее успокоение на его старческой груди…»

Однажды, незадолго до выступления из деревни Ракитовки, к нам в хату с взволнованным лицом пришел поручик Пенько и начал ругаться:

– Вот, черт возьми, отбирают роту, и главное кто! Офицер, который давным-давно был командирован из нашего полка в Главный штаб, некто Василевич. Ну, ни черта! После первого

же боя, если не убьют, приму какую-нибудь другую роту, ведь кто-нибудь из ротных командиров непременно убудет…

Мы искренно сочувствовали поручику Пенько. Хотя особенно дружеских чувств мы друг к другу и не питали, но во всяком случае мы сжились вместе, привыкли поручика Пенько считать своим начальником и начальником хорошим, так что появление нового лица нарушало нашу гармонию. На следующий день вечером к нам пришел и сам штабс-капитан Василевич. Это был красивый брюнет с черными хитрыми глазами. В его лице и улыбке проглядывало что-то демоническое. От всей его личности веяло холодом и неприветливостью. Можно было безошибочно определить лозунг этого человека: сделать себе блестящую карьеру во что бы то ни стало. По-видимому, он никому из нас не понравился, так как разговор не клеился, а поручик Пенько довольно прозрачно ему намекнул, что неудобно, мол, отбирать роту у того, кому она по праву принадлежит. На это штабс-капитан Василевич только иронически улыбнулся. Заметив нерасположение к себе, наш новый ротный командир с напускной вежливостью пожелал нам спокойной ночи и удалился. В течение всей стоянки в деревне Ракитовке мы каждый день ходили за четыре версты рыть окопы, несколько раз производили боевую стрельбу, занимались тактическими учениями, одним словом, как будто никакой войны и не было. Но несмотря на это, всем нам надоело мирное сидение, кроме того, в то время в нас кипел такой стремительный и неудержимый порыв вперед, такая жажда изведать то страшное непостижимое, которое заключалось в слове «война», что мы тосковали, думая лишь о том, как бы скорее встретиться с врагом.

Наконец, давно желанный день наступил. В 5 часов утра нас разбудил вестовой с приказанием собираться в поход. Я оделся и вышел на двор. Было холодно и неприглядно вокруг. Серые тучи беспросветной пеленой заволокли небо; моросил мелкий дождик. Благодаря отсутствию ветра листья на деревьях, трава и растения на огородах словно застыли в унылой неподвижности, отливая влажной, свежей зеленью. Хотя картина была далеко не из таких, которые могли бы вызвать какое-либо радостное чувство, а все же даже полторы недели пребывания в этой серой деревеньке сроднили меня с ней, и мне сделалось ее жаль. Я сознавал, что здесь, в таком невзрачном месте, я оставлял кусочек своей жизни, а ведь все то, с чем так или иначе связана наша жизнь, уже дорого, близко для нас, особенно же это заметно на войне. Между тем солдаты приготовлялись к походу. Всюду мелькали их фигуры с заспанными, землистого цвета лицами. Кто винтовку протирал, кто шинель раскатывал, кто бежал в одной сорочке с котелком в руке за водой, кто старательно раздувал в костре огонь, чтобы попить перед выступлением чайку. В 6 часов наша рота построилась и вслед за другими потянулась по размякшей от дождя дороге к сборному пункту. Когда весь полк выстроился, командир полка скомандовал «Смирно!» и прочел следующий приказ: «Сего числа, уповая на милость Божию, приказываю вверенной мне армии перейти в спокойное, но решительное наступление. Генерал от инфантерии Рузский». Командир полка поздравил полк с переходом в наступление и пожелал успеха в предстоящих боях с врагом. Затем был отслужен молебен о даровании русскому оружию победы, и полк, ощетинившись тысячами штыков, под звуки бодрого марша двинулся в ту сторону, где ожидали его страдания, подвиги и слава…

Мы шли, но нам не говорили куда; мы знали только одно, что идем к австрийской границе. Дождь перестал. Временами из-за туч ласково выглядывало солнце, бросая на сырые поля сноп ярких лучей. То там, то сям виднелись пестрые группы работавших мужиков и баб. Я шел, не чувствуя ни малейшей усталости, и полной грудью вдыхал в себя свежий воздух полей. О войне я не думал, мои мысли перенеслись в далекое прошлое, столь тесно связанное с теми местами, которые мы проходили.

На второй день после выступления из деревни Ракитовки часов в 5 вечера мы приближались к местечку Вишневец. Еще издали мы увидели какие-то большие здания вроде замков, высившиеся наподобие островов среди моря зелени садов. Особенно резко выделялся

своей белизной старинный замок князей Вишневецких. Наш полк расположился по квартирам в деревне, находившейся в двух верстах от местечка Вишневец. Мы, то есть офицеры 2-й роты, остановились в чистенькой и уютной хате. Хозяйка, бойкая, уже немолодая баба зажарила нам цыплят, и мы, на славу поужинав, завалились спать и тотчас заснули крепким здоровым сном. Утром следующего дня было приказано побеседовать с нижними чинами о причинах, вызвавших войну, и о наших противниках. В этот день ожидалось солнечное затмение, солдаты моего взвода собрались под деревом во дворе дома, где я помещался. У многих в руках были закоптелые стекла. Я начал довольно подробно им объяснять, из-за чего вспыхнула война с Германией и Австрией, указал в доступной форме на то влияние, каким пользовались немцы у нас в России, на стремление немецкой нации подчинить себе мелкие народы и т. п. Слова мои были исполнены жара и негодования молодого возмущенного сердца. Солдаты уставили на меня свои широкие, усатые и грубые лица и слушали с доверчивым вниманием, затаив дыхание. А между тем на голубом лазурном небе, как бы подтверждая нарисованную мною картину чудовищной войны, совершалось замечательное и редкое явление природы – полное затмение солнца.

– Смотрите, братцы, вот знамение небесное! – вырвалось у меня.

Я перестал говорить, и все с каким-то тревожным любопытством начали смотреть вверх. Медленно, но вполне отчетливо яркий солнечный диск закрывался каким-то другим, совершенно темным телом. Первое время казалось, что кусочек солнца оторван, потом оно приняло форму месячного рога, который с каждой минутой делался все уже и уже. Дневной свет как-то потускнел. Наконец, когда от солнца осталась только узенькая блестящая полоска, на землю словно спустились вечерние сумерки. На потемневшем, сделавшемся зеленоватым небе замерцали бледные звезды. Животные явно начали волноваться; куры закудахтали и стали забираться на жерди, на которых они обыкновенно проводили ночь; какая-то глупая собака завыла…

Мне кажется, что не только животные инстинктивно чувствовали страх перед этим могущественным явлением природы, но и люди не могли вполне равнодушно отнестись к нему. Конечно, всякий, даже простой мужик, знает причину затмения, но все-таки когда светлый радостный день вдруг быстро сменяется какими-то неестественными сумерками, когда вместо ослепительно-яркого солнца вы видите лишь одно темное пятно, вашу душу наполняет жуткое чувство, какой-то суеверный страх. Вы наблюдаете один из бесчисленнейших законов Вселенной, тех законов, которые постигнуть вполне вы не можете, которые управляются чьей-то могущественной, высшей волей и которые тем самым указывают на всю вашу ничтожность… Народная мудрость, отражающая в себе, как в зеркале, истинные мысли и чувства большинства людей, недаром приписывает таким явлениям особое значение; она, эта мудрость, называет их знамением небесным, которое предвещает роду человеческому грядущие бедствия, как то: войны, голод, болезни и т. п. Эти знамения есть видимые проявления совершающейся воли Того, Кто управляет Вселенной… А разве светлый лучезарный и радостный лик солнца, закрывающийся темной массой, погружающей землю во мрак, разве он не подобен человеческому лицу, облеченному в траур по случаю какого-нибудь большого горя? И разве в этом мы не можем видеть также выражение величайшей скорби Творца, скорби о зле, царящем с самого сотворения мира на нашей грешной планете?.. Кажется, нет ни одного бедствия в истории хотя бы России, как, например, кампания 1812 года, Русско-японская война, моровая язва и много других, которые не сопровождались бы каким-нибудь небесным знамением. У меня на памяти такой замечательный случай. В ночь под Новый 1914 год моя мама, некоторые родственники и знакомые возвращались из церкви. Вдруг мама громко воскликнула:

– Господа! Смотрите, на небе крест!

Действительно, на западной стороне совершенно чистого звездного неба стоял огромный, правильной формы крест бледно-желтого цвета, каким обыкновенно окрашено зарево пожара.

Все ясно видели крест, который потом постепенно растаял, и один наш знакомый офицер еще при этом сказал:

– Ну, помяните мое слово, будет война…

И точно, он не ошибся.

Когда кончилось затмение и яркое солнце, будто вырвавшись на свободу из пасти страшного, темного чудовища, снова засияло в лазурном небе, я отправился верхом на осмотр замка князя Вишневецкого. Расположенный на высоком, крутом берегу довольно широкой реки, этот замок красовался своим белым корпусом с многочисленными окнами среди зелени парка и прилегающих по сторонам серых и невзрачных домишек местечка. Я въехал через узорчатые железные ворота в просторный двор с красивым цветником посредине. Множество лошадей и повозок свидетельствовало о том, что в замке расположен какой-то штаб. Замок имел форму полумесяца и отнюдь не походил на те старинные сооружения с башнями, зубчатыми стенами и глубокими рвами, о которых у нас сложилось определенное представление, а напротив, по своему виду он, скорее, напоминал собой какое-нибудь казенное современное учреждение вроде института или гимназии. Но таким казался замок с внешней стороны. Совсем другое впечатление он на меня произвел, когда я вошел через красивый подъезд с массивными дубовыми дверьми, украшенными тонкой резьбой, вовнутрь его. Передо мной была большая и высокая комната – передняя. Уже здесь на меня пахнуло глубокой стариной. Прямо на стене висел огромный золоченый герб князей Вишневецких. По сторонам стояли грозные, неподвижные железные фигуры древних польских рыцарей в полных доспехах, готовые, казалось, броситься на всякого по первому знаку своего властелина. Наверх вела покрытая дорогим ковром широкая лестница с чугунными узорчатыми перилами. Хотя самого князя и его семьи не было в замке, но камердинеры в золоченых ливреях сновали взад и вперед. Я попросил одного из них показать мне покои замка. Мы начали с нижнего этажа. Первая комната была оружейная. Здесь по стенам в большом количестве висело старинное оружие самых разнообразных видов: пистолеты с длинными дулами и дорогими рукоятками, различные ружья, гетманские булавы, огромные щиты и мечи. Я смотрел на эти примитивные средства войны и думал, как мы далеко ушли от наших предков, но в то же время мне приходила в голову мысль, какими здоровыми и сильными людьми они, вероятно, были, если могли сражаться при помощи таких тяжелых мечей и щитов, которые не всякий из нас теперь легко поднимет.

Ряд следующих комнат представлял собой нечто вроде картинной галереи. Здесь кроме портретов членов княжеской фамилии были также прекрасные картины известных старинных мастеров. Затем мы прошли в гостиные, которые поразили меня своей царской роскошью. Несмотря на то что большинство дорогих вещей было увезено из замка, все-таки даже и оставшееся говорило о большом богатстве князей Вишневецких. Главное украшение этих комнат составляла старинная мебель из резного дерева, обитая тонким шелком. Изящные обои гармонировали с тоном мебели, и в зависимости от ее цвета комната носила название голубой гостиной или розовой гостиной. Между прочим, камердинер указал мне на одно особенно красивое кресло с золоченой спинкой и ручками, обтянутое светло-голубым бархатом. По словам камердинера, на этом кресле любила отдыхать Марина Мнишек. Я с любопытством посмотрел на кресло, и мне в голову пришла ребяческая шутливая мысль посидеть на этом историческом кресле, чтобы впоследствии я мог бы кому-нибудь с гордостью сказать, что вот, мол, я сидел не где-нибудь, а на кресле, на котором сиживала сама Марина Мнишек. Обойдя все комнаты, я отпустил камердинера, щедро его наградив, и вышел на просторный балкон. Последний был сделан из белого камня, потемневшего от времени. По углам и посредине перил стояли высеченные из того же камня вазы с покоившимися на них шарами. Впереди открывался один из тех чудных видов, которые невольно приковывают к себе ваш взор. Внизу, у подошвы горы, покрытой густыми зелеными деревьями, на которой высился замок, искрилась голубая лента

реки. Узкой темной полоской перехватывал ее берег мост, и по нему взад и вперед ползли как муравьи черные точки – люди. Дальше живописно раскинулось местечко с ближайшими селениями, а еще дальше, купаясь в лучах предвечернего солнца, желтели поля, окаймленные синеватыми, сливающимися с горизонтом лесами.

Я облокотился о перила балкона и задумчиво смотрел неподвижным взглядом вперед, на эту прекрасную картину, и мысли мои невольно перенеслись в седую старину Быть может, думал я, когда-нибудь давно-давно стояли вот здесь, на этом самом месте, в тихую лунную ночь Лжедмитрий и Марина Мнишек и, прижавшись друг к другу, упоенные счастьем любви, смотрели в молчаливую, бледную даль и на спокойную, отражавшую в себе блеск луны реку, над которой стлался легкой белой вуалью туман… Вероятно, в тот миг жизнь для них казалась столь прекрасной, столь заманчивой! Не было прошедшего, не было будущего, было только настоящее, томительное и сладостное… Но что теперь? Тот же замок и балкон, та же река, та же даль… Все то же, как и было несколько веков тому назад, но нет уже тех лиц, которые здесь жили, страдали, наслаждались… Их нет давно, они потонули в бездне времени и лишь бессмертная, неувядаемая красота природы осталась такой же, как и прежде.

Я вышел в парк, в тот парк, где Лжедмитрий клялся в любви Марине Мнишек. Парк оказался немного запущенным, кое-где еще сохранились старинные статуи. Мои мысли, перенесшиеся было к далекому прошлому, сразу вернулись к действительности, когда я увидел расположившийся в парке обоз. Мне сделалось неприятно, и я, отыскав свою лошадь, хотел отправиться на почту, чтобы сдать деньги, но в это время мое внимание привлекла группа людей, толпившихся около повозки. За людскими головами я не мог разобрать, что находилось в повозке, но, вероятно, что-нибудь очень интересное, так как каждый старался протиснуться ближе и раздавались какие-то одобрительные возгласы. Я подошел к ближайшему мужику и спросил, в чем дело.

– Пленные австрияки, – проговорил он, почтительно снимая шапку.

При этих словах у меня что-то дрогнуло внутри. До сих пор я только знал, что вспыхнула война, что через несколько дней начнутся бои, но пока все это ничем не выражалось реальным и потому почти не волновало меня. Но вот неоспоримый предвестник войны – пленные, настоящие пленные! Мне казалось, что они были подобны первым каплям дождя перед грозой, когда ветер нагоняет передние клочки туч, а там дальше небо заволакивается свинцовым покрывалом, и слышатся уже недалекие удары грома… Едва я выразил желание посмотреть пленных, как толпа тотчас расступилась, я подошел к повозке и увидел их. Как ни странно, но должен признаться, что я испытал какое-то особенное, непонятное чувство, нечто вроде разочарования, смешанного с брезгливостью, подобной той, которая возникает в нас, когда мы видим человека, раздавленного поездом. На телеге сидели два австрийца в красных штанах и в нижних белых, но грязных рубахах с расстегнутыми воротниками. Один из них был без шапки, с перевязанной платком головой, который почти весь промок в крови; на растрепанных усах и на бледном усталом лице тоже виднелась запекшаяся кровь. Маленькие, ввалившиеся глаза горели лихорадочным огнем и говорили о сильных физических страданиях. У другого была ранена левая рука, подвязанная какой-то белой тряпкой, сквозь которую просачивалась свежая кровь. Правой рукой он изредка подносил ко рту кусок черного хлеба. Окружавшие смотрели на австрийцев как на каких-нибудь редких зверей, с любопытством, однако и с сочувствием к их страданиям. Но, вероятно, чувство некоторого разочарования в тот момент испытывали все присутствовавшие, потому что один мужик даже не выдержал и крикнул:

– О-то такие пленные?!

– А-то як же ты думал? Може, будут с двума головамы, чи с хвостами?! – кто-то иронически ответил из толпы.

Послышался легкий смешок. А я, конечно, не представлял себе пленных какими-то особенными существами, как правильно выразился мужик, с двумя головами и хвостами, но когда

я увидел перед собой таких же точно людей, как и я сам, но только несчастных, слабых и истекающих кровью, признаюсь, меня в тот момент покоробило, и не злобу, а, скорее, сострадание я почувствовал к этим людям, пленным, которые считались моими врагами. И я думаю, что если бы вместо них я увидел настоящее чудовище о двенадцати головах с изрубленным телом, трепещущим в предсмертных судорогах, то я, да, пожалуй, и все окружающие были бы больше удовлетворены. Впервые перед моими глазами предстала человеческая кровь, пролитая на войне, и на мгновение мой ум озарило смутное сознание всего ужаса войны, который создали сами себе люди…

Я разговорился с пленными. Оказалось, что они поляки и умеют немного говорить по-русски. Тот, у которого была ранена голова, рассказывал, что его ударил шашкой немецкий офицер, предполагавший, будто он намеревался сдаться русским казакам, налетевшим в это время как вихрь на австрийский разъезд. Другой раненый на мой вопрос, почему он, славянин, воюет с русскими, не лучше ли было бы сдаться в плен, ответил с достоинством, что, как я присягал своему королю, так и он клялся на верность Францу Иосифу, поэтому, мол, и сдаваться добровольно в плен нехорошо. Я похлопал его по плечу в знак одобрения и отправился к лошади.

Из замка я поехал на почту, чтобы послать домой деньги. К моменту моего приезда настроение у чиновников было тревожное. По секрету они мне передали, будто в 30 верстах от Вишневца австрийцы. Я с некоторой важностью успокоил их, говоря, что здесь много наших войск, следовательно, опасаться нечего. Выйдя из почтово-телеграфной конторы, я заметил на дворе группу казаков, которые о чем-то оживленно беседовали. Из нескольких отрывистых, долетевших до меня слов я понял, что разговор идет о какой-то удачной стычке с австрийцами. В то время всякая мелочь, касавшаяся военных действий наших войск, была для меня интересна, поэтому я подошел к разговаривавшим и с приятным волнением выслушал рассказ о том, как шесть обозных (значит, нестроевых) казаков, завидев 15 австрийских всадников, вскочили на неоседланных лошадей и с гиканьем бросились на врага, несколько человек изрубили, а остальные ускакали. При этих словах я пришел в такой восторг, что невольно воскликнул:

– Вот молодцы, казаки!

Возвращаясь домой, я мысленно восхищался ими. Хотя война еще только началась, но слава о них разнеслась уже по всей России. На маленьких хвостатых лошадках, в черных папахах даже и летом, с длинными пиками в руках, с мужественными, открытыми лицами они, эти казаки, в то время казались мне незаменимыми войсками. В их бесхитростных глазах я словно читал дикий, вольный дух их предков, девиз которых был война. И вот с первых же ее дней я убедился, что казачество осталось таким же воинственным, каким оно считалось и несколько веков тому назад. Чего ж вы хотите! Шесть смельчаков, знавших только свои повозки, завидев вдвое сильнейшего врага, ни на секунду не задумываясь, бросились вперед и разбили его. Разве этот факт не говорит сам за себя!

На следующий день в 8 часов утра полк выступил из местечка Вишневец, двигаясь к границе. Идти было хорошо. Грязь немного подсохла, солнышко ласково грело. Солдаты шли бодро, покуривая махорку и весело болтая.

– Глядите, ребята, австрияка ведут! – крикнул кто-то из роты.

Послышались хихиканья и замечания вроде «Ишь разукрашенный какой, будто петух!» или «Одначе они – эти самые австрияки – махонькие, наш брат куды крупнее»…

Действительно, мимо нас проходил низкого роста австрийский солдат-кавалерист в красных штанах и синего цвета куртке. Голову он сконфуженно опустил вниз и беспрестанно чего-то улыбался. Сзади ехал верхом сопровождавший его казак.

– Мне кажется, Николай Петрович, – обратился я к поручику Пенько, указав рукой на австрийца, – что их кавалерия много проигрывает благодаря такой пестрой форме.

– Да, пожалуй… – проговорил он. – Хотя, знаете, в кавалерии все равно, какая форма, яркая или защитного цвета, так как им приходится большей частью действовать открыто, не применяясь к местности, как мы – пехота, и где там примениться с лошадьми! Да и вообще-то коннице сравнительно мало приходится воевать…

В тот момент я не обратил внимания на последние слова поручика Пенько, но впоследствии я узнал их глубокий смысл.

Пройдя еще несколько верст, мы заметили в отдалении, вправо от нас, что-то золотисто-блестящее, будто какое-то другое солнце грело и сияло с противоположного горизонта. При виде этой сверкавшей точки сердце мое радостно забилось, словно я увидел что-то бесконечно дорогое мне и близкое… Я снял шапку и набожно перекрестился. Это была Почаевская лавра – величайшая святыня не только Волыни, но и всей России. Здесь хранилась чудотворная икона Почаевской Божьей Матери.

Почаевская лавра! Сколько отрадных воспоминаний далекого детства связано у меня с этим святым местом. Сколько человеческих слез, горьких и радостных, оросили каменные плиты Почаева! Сколько молитв горячих, трепещущих слышали его темные, старинные своды, сколько страдальцев и мучеников жизни нашей земной нашли здесь свое утешение.

Все явственнее и явственнее вырисовывались на фоне светло-голубого неба золотые маковки лавры, которая вскоре стала видна как на ладони. Это было поистине прекрасное зрелище. Среди почти равнинной и обнаженной местности природа капризной рукой бросила несколько холмов, и вот на этих-то холмах, покрытых лесом и садами, приютилась Почаевская лавра. Со своими белыми как снег церквями и горящими огнем куполами, со своей уходящей чуть не в облака колокольней святая обитель так, казалось, и манила к себе под тихий священный кров, словно говоря своим мирным лучезарным видом о тех духовных радостях, о счастье, которые вас в ней ожидали…

А там дальше, левее Почаевской лавры, где небо сливалось с землей, темнело какое-то неясное большое сооружение, казавшееся почти точкой. Это – австрийский монастырь Подкамёнт. И странным казалось, и не верилось как-то, что близится конец русской земли и что все вокруг наше, а это темное далекое пятнышко уже не наше, что над ним работали и его создали какие-то другие, чуждые нам люди и что там, где оно темнеет, пролегает таинственная черта, по ту сторону которой лежит земля нашего врага – Австрийской империи.

Почаев оставался все время правее нас.

Понемногу мы начали от него удаляться, но долго еще, обернувшись несколько назад, можно было видеть его золотые, сверкавшие солнцами главы, пока, наконец, наш полк не втянулся в большую деревню Плинки, расположенную от границы всего в нескольких верстах, где мы стали на отдых. Устроив солдат по квартирам и закусив, я попросил разрешения у ротного командира и отправился по случаю субботы в сельскую церковь. После многих трудных дней похода, в ожидании великих и страшных грядущих событий моя душа рвалась к Богу: она искала общения, она хотела слиться с ним воедино. Я шел. Был один из тех дивных деревенских вечеров, которые так отрадно, так безмятежно действуют на душу человека. Солнышко близилось к закату. Нежные, пурпурные, прозрачные облачка повисли в ясном небе. В тихом теплом воздухе звучной волной разливался монотонный благовест; к нему изредка примешивался громкий смех деревенских детишек, игравших на лужайке около маленькой журчащей речонки с высокими зелеными берегами, протекавшей посреди деревни. По дороге, поднимая высоко вверх пыль, с мычанием двигалось стадо коров, которое гнала с выкрикиванием и по-детски ругаясь маленькая босая девочка с хворостиной в руке и с розовым платком на голове. Мужики и бабы, кончив работы на полях, приоделись по-праздничному и вышли из своих хат. Кто в церковь направлялся, кто сел на скамеечку перед домом и, бессмысленно глядя на окружавшее, лузгал семечки. Около некоторых хат стояли небольшие кучки солдат и деревенских

девок в пестрых платочках. Слышались веселый смех и говор. Да, так хорошо, так мирно было вокруг!..

Я подходил к церкви. Церковь была каменная и для деревни большая. Она стояла на высоком месте и, озаряемая лучами заходившего солнца, придавала всей этой чудной деревенской идиллии какую-то особенную прелесть, какую-то особенную, своеобразную русскую красоту. Церковь оказалась битком набита не столько сельским людом, сколько солдатами. Я прошел на левый клирос, где встретил нескольких офицеров своего полка. С того момента как я уехал на войну, мне ни разу не представлялся случай побывать в церкви. Хотя в своей жизни я очень любил посещать храм Божий, но, признаюсь, никогда еще я не испытывал в такой степени религиозного подъема, как именно в ту минуту. Горящие свечи, старик-священник в своей сверкающей золотом ризе, святые образа, волны кадильного дыма – все это мне показалось тогда таким прекрасным, чистым и умиротворяющим; каждое слово священника было исполнено для меня сокровенного смысла… Знакомые напевы святых песен звучали в моих ушах сладкой симфонией, глубоко западали в душу, волновали ее и потрясали, вызывая могучий молитвенный порыв. И я молился в тот момент, молился как никогда горячо, убежденно, с искренней несокрушимой верой. Я забыл все окружавшее меня, я видел перед собой только желтые язычки горящих свечей и сквозь кадильный дым различал лик Пресвятой Девы… Моя душа высоко воспарила к небу. Никогда еще я не понимал в такой степени, как ничтожны мы в сравнении с Тем, Кто управляет мирами. Никогда, о, никогда еще я не взывал к небесам с таким глубоким сознательным чувством: «Господи, Господи! Да будет Твоя святая воля!» Впервые я испытывал то счастливое состояние, когда вдруг меркнет образ смерти, когда не только ее не боишься, но даже желаешь ее, но желаешь для того, чтобы поскорее перейти в другую, светлую, вечную жизнь…

И в то время как я возносил к Творцу свои горячие, вдохновенные молитвы, в которых было больше чувства, чем слов, хор запел «Спаси Господи…» Сотни солдатских грудей подхватили, и стены храма были потрясены этой святой песней, где каждая строка говорила вам о наступавших великих страдных днях… Я заразился всеобщим подъемом и тоже запел, и слезы, искренние слезы восторга, потекли у меня из глаз. И в этих слезах была победа над смертью…

Кончилась служба. Солдаты, истово крестясь, стали выходить из церкви; вслед за ними вышел и я. Солнце уже давно зашло. Вечерние сумерки густой пеленой окутали деревню. После духоты в церкви я с особенным наслаждением вдохнул в себя полной грудью свежий воздух. На душе было легко и отрадно, как будто я сбросил с себя какую-то тяжесть, которая меня раньше давила, а на будущее, кровавое и ужасное, я смотрел спокойно, с упованием на милосердие Божие…

Придя домой, я с аппетитом выпил свежего холодного молока, закусывая его ржаным, очень вкусным хлебом, лег, не раздеваясь, на душистое сухое сено, наваленное в сарае, и вскоре заснул крепким, спокойным сном. На следующее утро, едва только занималась заря, Франц уже будил меня. Я вскочил и начал быстро умываться почти ледяной водой. Ротный командир штабс-капитан Василевич уже был одет и наскоро допивал кружку чая.

– Вам, Владимир Степанович, идти за знаменем; поторапливайтесь!.. – проговорил он.

Я нацепил шашку и вышел, пробираясь вдоль забора через грязную улицу, к роте, которая невдалеке стояла серой массой. Утро было холодное. Солнце еще не выходило. Белый туман как пар окутывал деревню, сады, поля и как тяжелое облако лежал в долине речки. В тишине раздавались голоса собиравшихся в поход солдат. Из разных концов деревни доносилось протяжное пение петухов. Где-то близко слышался зудящий скрип колодезного журавля.

Поздоровавшись с людьми, я взял вторую полуроту, отправился с ней к квартире командира полка и, приняв знамя, пошел к сборному пункту полка. Полк уже стоял, готовый к выступлению, и при проносе знамени взял на караул. После этого начальник дивизии, который почему-то все время нервничал и теребил свою красивую вороную лошадь, приказал начать

движение. В головную заставу назначили полуроту 3-й роты под начальством подпоручика Новикова, моего товарища по училищу. Это был красивый и высокий офицер, веселый, но в то же время серьезный и развитой. Когда он проходил мимо меня со своей полуротой, мне бросился в глаза его понурый и печальный вид. Голова была опущена, на лице лежало выражение грусти. Он шел медленно, с трудом вытаскивая ноги из липкой грязи. Не знаю, что на него повлияло, усталость ли, холодное и сырое утро или, быть может, смутное предчувствие чего-то недоброго, неизбежного, как тень пало на его молодую, полных благородных порывов, душу…

– Скорее вперед! Офицер, вперед! – послышался грубый окрик начальника дивизии, и я заметил, как сердито, почти злобно он посмотрел на подпоручика Новикова. Мне сделалось жалко товарища, и я содрогнулся при мысли о той страшной, неведомой силе, которая толкает нас на кровавое дело и которая дает право жизни и смерти одних людей над другими…

Вскоре полк вытянулся длинной серой кишкой. Позади двигался обоз. Пройдя лощину, где живописно раскинулась деревушка, приютившая нас на одну только ночь, мы вышли на бугор и нашему взору открылись необъятные, залитые радостным утренним солнцем, желтеющие поля. У всех нас было прекрасное, бодрое настроение.

– Эй, землячок! Скажи, далече тут будет до границы? – спросил кто-то из солдат нашей роты, обращаясь к мужику в белой грубой рубахе, сидевшему на скрипучей телеге и погонявшему пару маленьких, но сытых лошадок.

– Нэдалэко! Билыпэ нэ будэ, як одна верства! – выкрикнул каким-то визгливым голоском мужик и дернул веревочными вожжами. Лошаденки вскинули мордами и побежали рысью.

Наконец, в некотором отдалении мы увидели широкую, малоезженную и окопанную с обеих сторон канавами дорогу, которая в виде темной ленты тянулась влево и вправо и терялась вдали. Это была граница. Сердце мое радостно забилось. Так вот она – эта таинственная черта, разделявшая долгое время два великих государства! Как еще недавно она служила могущественной преградой, перешагнуть которую можно было нередко с опасностью для собственной жизни. Австрийские и русские солдаты днем и ночью ходили и зорко следили за тем, чтобы никто не смел вторгнуться незаконно в пределы чужой земли. Но теперь, когда кровавый ураган войны разорвал оковы закона и втоптал в грязь священные права человечества, когда восторжествовало право сильного, тогда перестала существовать и граница – эмблема условности, и Австрийская империя открыла свои широкие объятия, нахлынувшим, как волны, русским армиям…

Все ближе и ближе к границе подходила наша колонна, впереди которой ехал верхом командир 1-го батальона подполковник Бубнов. Вот уже его лошадь, словно чуя что-то необычайное, зарыла копытами землю и, красиво перегнув шею, вступила на вражескую землю. Подполковник Бубнов снял фуражку и неторопливо осенил себя широким крестным знамением. В этот момент музыканты, став в стороне от дороги, заиграли церемониальный марш. В ту историческую минуту меня охватило необыкновенное, торжественное чувство, в котором было все: и гордость, и какое-то величественное сознание силы и мощи России, и предвидение грядущих побед. Радостная дрожь пробежала по телу, и необычайная энергия наполнила мое существо. Мне бросились в глаза два столба: один – русский в виде колонки и окрашенный в такие цвета, в какие обыкновенно красятся у нас в России верстовые столбы, и другой – австрийский железный, верхняя часть которого с австрийским гербом была сбита и валялась тут же, на земле. Перейдя границу, я перекрестился. Многие солдаты тоже крестились. На их суровых, серьезных лицах была написана молчаливая угроза врагу, дерзнувшему поднять свой меч на святую Русь.

После перехода границы не только мне одному, но, вероятно, и всем казалось немного странным, что австрийская земля почти ничем не отличалась от нашей; такие же поля, такие же деревья, огороды, как будто все должно было быть каким-то другим, особенным.

– Вот она какая Австрия-то! И не подумал бы никогда, коли б границы не прошли, словно Расея! – ни к кому не обращаясь, проговорил какой-то солдат. – А что, брат Ванюха, – продолжал он, обращаясь к своему соседу, – даст бог, по замирении вернемся домой, скажем, что, мол, как есть, в заграницe с тобой побывали!

В ответ послышался дружный смех.

– Да, жди… Ишь, про замирение заговорил, не видамши еще войны. Эх, ты!.. – наставительно заявил отделенный, действительной службы солдат с большими красивыми светлыми усами и при этом затянулся крученой папироской.

Но вот мы вошли в австрийскую деревню, и я сразу почувствовал, именно почувствовал, что нахожусь не в России. Хаты с соломенными крышами были без труб. Крестьяне все в чистых белых полотняных одеждах, высоких смазных сапогах и с круглыми соломенными шляпами на голове. Выражение лиц, характерные черты которых составляли длинный, довольно крупный нос и большие, опущенные книзу усы, было не такое добродушное и простое, как у нашего мужика. Мужчины старые и молодые стояли небольшими кучками около халуп (хат) и с любопытством, но без всякого страха смотрели на проходившие мимо них русские войска, и только при виде офицера почтительно снимали шапки. Женщин и детей почти не было, так как они попрятались по домам и робко выглядывали из-за углов и окон. Около колодца некоторые крестьяне стояли и давали воду подходившим солдатам, причем в знак того, что вода не отравлена, предварительно отпивали немного сами. Все крестьяне оказались поляками, многие из них побывали в России и умели говорить по-русски. Судя по радушному приему, оказанному нам, можно было заключить, что они отнеслись к русским благосклонно.

К концу дня мы пришли на отдых в большую, утопавшую в садах деревню. Солнце только что зашло, и приятная вечерняя прохлада сменила дневной жар. В недвижном воздухе пахло дымом. На зеленоватом ясном небе зажглась первая звездочка. Умывшись холодной, чистой водой, я пошел в сад. Как и всегда, меня тянуло к природе, в уединение… Высокие с побеленными стволами деревья, усыпанные многочисленными дозревавшими плодами, приняли меня под свою молчаливую сень. Несколько солдат со смехом и подбадривающей руганью сбивали палками сочные, румяные яблоки, но при моем появлении смутились и с виноватыми лицами разошлись, так как под страхом розог им было запрещено что-либо трогать в неприятельской стране. Я отправился на противоположный конец сада. За садом пролегала бархатисто-зеленая, без единого кустика и пятнышка лощина, а за нею раскинулись, куда только мог хватить глаз, поля. Я прилег на траву под большим грушевым деревом и задумался. На душе было так же хорошо, так же тихо, как и в окружавшей меня природе. Все это: и деревья, и чистое небо с мерцающей звездочкой, и зеленая лужайка, и беспредельная манящая даль, и два деревенских мальчика со звонкими голосами, сбивавшие неподалеку от меня яблоки, – все это так мало, почти даже совсем не походило на войну. Мгновениями мне казалось, что я нахожусь в родной деревушке, где я любил проводить лето. Но вот по дороге, левее лужайки, из-за бугра вышло несколько солдат с ружьями на плечах, вероятно дозор, и я вернулся к действительности. И вдруг с гордостью я вспомнил, что нахожусь во вражьей земле, что здесь я сижу не как мирный гость, но как великодушный победитель и что потому над всем меня окружавшим, даже над жизнью этих милых, невинных ребятишек как будто я имел какое-то неоспоримое право…

Уже совсем стемнело, и на небе мерцали мириады звезд, когда я вернулся в халупу. Чистенькая и аккуратненькая снаружи, халупа оказалась еще лучше внутри. Комната, освещаемая небольшой керосиновой лампой, просторная, но в то же время уютная. Пол деревянный и тщательно вымытый. На стенах, покрашенных голубой известью, висели часы, лубочные картины, а левый угол был весь завешан иконами в красивых рамках. На маленьком круглом, покрытом белой скатертью столике стояло деревянное вырезанное распятие и лежал польский молитвенник. Около стены с двумя окнами, уставленными вазонами с цветами, находился длинный выскобленный стол со скамьей. Немолодая на вид баба с медным крестом на груди,

висевшим на красных мелких четках, сидела на широкой деревянной кровати с огромными подушками и высокими спинками, и молча, но вполне дружелюбно смотрела на непрошеных гостей. Денщики устраивали нам постели на соломе в углу под иконами. В это время открылась дверь, и вошел с ружьем в руках солдат, который, обратившись к штабс-капитану Василевичу, проговорил:

– Так что, ваше благородие, нету этого хлопца, должно, убёг.

– Эх, жалко, черт возьми, – пробормотал ротный командир. – Ты, брат, передай подпрапорщику, чтобы дневальные не зевали, а то ведь черт его знает, что за народ, не у себя в России… Ну, ступай!

Солдат неуклюже повернулся и вышел. Я заинтересовался и спросил у штабс-капитана Василевича, в чем было дело. Оказалось, что в халупе, где мы остановились, находился какой-то молодой паренек. Своим подозрительным поведением он обратил на себя внимание всех. К офицерам он не обращался с расспросами, а все больше заговаривал с солдатами. Ротный командир, предполагая, что это какой-нибудь шпион, приказал учредить за ним надзор, но едва только стемнело, как он куда-то скрылся, и нигде не могли его найти.

Никто из офицеров нашей роты не придал этому факту большого значения, но, быть может, впервые за весь поход каждый из нас, ложась спать на мягкую солому, смыкал усталые веки с легкой тревогой на душе.

– А что вы думаете, господа, разве не осмелится эдакий молодец прийти к нам ночью в гости и перерезать всем глотки и, таким образом, сразу, без всякого боя лишить наш полк четырех доблестных офицеров? – проговорил полушутя-полусерьезно штабс-капитан Василевич. И с этими словами положил под подушку заряженный револьвер.

Мы засмеялись каким-то неестественным, деланым смешком и ничего не сказали. Денщики потушили лампу, кое-как примостились в противоположном углу, и через некоторое время в тишине темной комнаты раздавалось только мерное тиканье часов и легкое всхрапывание заснувших усталых людей. Я помолился Богу и лег под шинель, стараясь отогнать от себя черные мысли, навеянные последними словами ротного командира.

Однако вскоре физическое утомление и сильные впечатления дня взяли свое, и я заснул крепким, свинцовым сном. Ночь прошла спокойно. Наутро, едва заблестели первые лучи восходящего солнца, которое как будто улыбалось влажной, ожившей после ночной дремоты земле, наш полк уже вытягивался в походную колонну по узкой дороге, выходившей из деревни. Солдаты отдохнули за ночь, а свежее радостное утро возбуждало в этих молодых, здоровых людях жизненную энергию и создавало бодрое и веселое настроение. Повесив ружья на ремень через плечо, с тяжелыми мешками за спиной и лопатами сбоку, они шли по шесть человек в ряд, смеясь и отпуская всякие шуточки и прибаутки.

Впереди полка ехал командир со штабом; там уже несли знамя. Между батальонами, выделяясь своими темно-зелеными, чистенькими, красивыми, как игрушки, орудиями и чуть-чуть погромыхивая колесами, двигались батареи. Сзади полка, вытянувшись в длинный хвост, одна за другой ехали повозки обоза. Я шел, не чувствуя никакой усталости, жадно осматривая все, что попадалось нам на пути. В начале местность более или менее равнинная постепенно перешла в холмистую и покрытую кое-где густыми сосновыми лесами. Деревушки, похожие на наши, русские, но более чистенькие, встречались часто, через версту-две, и почти в каждой можно было видеть простой, но нередко довольно красивой архитектуры костел и дом ксендза. Дороги становились лучше и лучше, большинство шоссированные, и на перекрестках их стояло или высокое деревянное распятие, или каменная статуя Пресвятой Девы. Часто также нам попадались большие озера и пруды, которые кишели дикими утками и гусями.

Когда мы спросили у галицийских крестьян, почему у них такое множество дичи, они сказали нам, что им строго запрещено охотиться и потому дичь сохраняется.

Присматриваясь к окружавшему, я в то же время не переставал думать о той причине, которая бросила меня с оружием в руках в эту чуждую, благоустроенную и, казалось, мирную страну, то есть думать о войне. Подчас красивые и умилительные сельские картины говорили скорее за то, что все происходящее есть не более как приятная экскурсия за границу с научной целью, но никак не война. И действительно, мы углубились внутрь Галиции чуть не на 50 с лишним верст, а между тем не встретили ни одного австрийского солдата. Да, противника еще не было, но были уже его зловещие признаки. Часто по пути попадались сожженные мельницы, разрушенные дома и восстановленные нашими саперами мосты. В деревнях и местечках, мимо которых мы проходили, висели большие белые флаги, свидетельствовавшие о покорности населения и приятно щекотавшие своим видом наше самолюбие победителей. Кое-где у дороги валялись поломанные шашки, выстрелянные гильзы и пустые пачки от патронов – следы стычек нашей и неприятельской кавалерии. Судя по тем скудным сведениям, которые мы имели о противнике, очевидно было одно, что австрийская конница отступала под натиском нашей конницы, и благодаря этому наши войска беспрепятственно вторглись в пределы Галиции.

В описываемый мною день переход выдался очень тяжелый. Пока в воздухе чувствовалась утренняя прохлада, идти было легко и даже приятно, но когда солнце начало палить и прямо в лицо подул горячий, точно из раскаленной печи, ветер, двигаться сделалось трудно. Постепенно затихли смех и веселые разговоры – это первый признак утомления солдат.

Покрытые толстым слоем серой пыли, с красными, вспотевшими лицами, с полусогнутыми под тяжестью амуниции спинами, они шли гуськом по сторонам дороги, едва волоча ноги. Изредка всеобщее молчание нарушал чей-нибудь одинокий сдавленный возглас вроде:

– Ф-фу! Вот-те и Галиция! Словно в бане паришься!

Особенную усталость мы почувствовали около четырех часов дня. Солнце жгло немилосердно. Ноги отказывались двигаться, а между тем оставалось пройти еще верст пять-шесть. Остановки для отдыха делали чуть не через каждые 10–15 минут, причем достаточно было командиру полка остановить лошадь и махнуть рукой, как от головы колонны проносился гул «Стой! Стой!», и измученные люди, как снопы, валились на землю на том месте, где стояли, и тотчас засыпали. Через несколько минут опять слышалось «Вперед!», и вся эта, дотоле недвижная серая масса человеческих тел, распластавшихся на земле, вдруг встрепенулась, поднималась на ноги, кряхтя и бормоча ругательства, и снова медленно плелась вперед.

Я испытывал такую усталость, что почти ничего не соображал. Натертые узкими сапогами ноги ныли и подкашивались. Пыль залепляла глаза. Во рту совершенно пересохло. Я ежесекундно вытирал платком лицо, но только еще больше размазывал грязь. На каждой остановке я ложился прямо на землю и чувствовал, как веки помимо моей воли слипались, точно на них давила какая-нибудь тяжесть. И так сладко было забыться на эти несколько минут…

Наконец, совершенно замученные и грязные, мы втянулись в деревню N, где и расположились на отдых. Но едва только, стряхнув с себя пыль и умывшись, я сел за стол, чтобы закусить, как вдруг около нашей халупы послышались какой-то необычайный шум, крики и стрельба. Я вскочил и подбежал к раскрытому окну. На дворе и на улицах деревни была большая суматоха. Солдаты, кто с котелком в руках, кто без пояса и без шапки, кто босой, кто с ружьем, заряжая его на ходу, кто без ружья, куда-то бежали. Из всего этого и из различных непонятных криков я догадался, что на нас напала австрийская кавалерия. Мне сообщилось охватившее всех паническое чувство. В волнении я бросился искать револьвер и шашку и, как назло, не мог найти ни того, ни другого. Ротный командир и поручик Пенько тоже засуетились, и все поспешно выскочили на двор. Наконец и я, найдя свое оружие и извергая поток ругательств за то, что оно так долго не находилось, выбежал вслед за ними.

Солдаты, приводимые в порядок резкой бранью и пинками офицеров, мало-помалу приходили в себя и выстраивались на окраине деревни.

Недалеко от нас, под лесом, слышалась ружейная перестрелка, сопровождавшаяся несколькими сильными взрывами. Хотя я чувствовал, как у меня дрожали поджилки, однако я старался казаться совершенно хладнокровным и успокаивал солдат. Присутствие духа офицеров сейчас же передалось солдатам, они вскоре оправились от первого испуга и спрашивали друг у друга, что же именно такое случилось? В первый момент никто ничего не мог разобрать, но вскоре выяснилось, что в лесах скрылись два неприятельских эскадрона после разгрома австрийской кавалерийской дивизии, в состав которой они входили.

Воспользовавшись тем, что наш полковой обоз немного отстал от своих, эти два эскадрона напали на него недалеко от той деревни, где мы расположились на отдых. В обозе, конечно, произошла паника, особенно когда австрийцы открыли огонь из пулеметов. Лошади понесли, переворачивая повозки и разбивая их. Большинство обозных солдат разбежались. Но в это время небольшое прикрытие обоза, состоявшее всего из нескольких десятков человек, рассыпалось в цепь, и, когда австрийцы, увлеченные легким успехом, бросились с шашками наголо в атаку, их встретил меткий огонь нашей цепи, которым они и были рассеяны. Стрельба уже затихла, но полк все еще стоял, готовый встретить врага, откуда бы он ни появился. С наступлением сумерек было приказано выставить непосредственное охранение и разойтись. В охранение назначили мой взвод. Я сам выставил полевые караулы, сказал, с какой стороны ожидается противник, и приказал ни в коем случае не спать. Было уже совсем темно, когда я вернулся в полевой караул № 1, расположенный во ржи у дороги. Я присел на шинель, растянутую на примятых к земле стеблях, и употреблял все усилия к тому, чтобы не заснуть. Но веки не слушались и сами собой закрывались, а утомленное тяжелым переходом тело жаждало отдыха. Несколько солдат темными молчаливыми силуэтами расположились около меня, и я чувствовал, как в них тоже происходила тяжелая борьба со своей слабостью. Прямо против меня полулежала чья-то солдатская фигура, и видно было сквозь сумрак ночи, как голова этого человек все ниже и ниже склонялась к земле, наконец, припала, и через секунду уже слышалось легкое, сладкое похрапывание. Но начальник караула бравый унтер-офицер не дремал. Он зорко следил за тем, чтобы никто не спал. Тихонько подойдя к заснувшему солдатику и тряхнув его за плечо, он проговорил таинственным шепотом: «Зорин! Не спи!» Этого было достаточно, чтобы солдатик встрепенулся, даже вскочил на ноги и пробормотал, с трудом преодолевая сонливость: «Виноват, одолела проклятая…» – подразумевая под словом «проклятая» сон, который нападал на нас, как назойливая муха. А вокруг раскрыла нам свои объятия тихая, теплая ночь. В беспредельном, темном небе мерцали недвижные звезды. Изредка раздавался крик какой-нибудь ночной птицы в соседней чаще, и снова все умолкало. И чудилось в этой зловещей, немой тишине, что вот где-нибудь близко, скрываясь за кустами, ползут как змеи какие-то люди… Мгновение, и они бросятся на нас как звери… Мы ощетиним свои штыки. Произойдет короткая кровавая схватка, и благоговейную тишину ночи нарушат раздирающие душу крики раненых и хриплые стоны умирающих… Но все было спокойно. Враг не тревожил. Ночь кончалась. Уже яснее и яснее выделялись очертания бугра впереди, леса справа, деревни позади. Ночная темень постепенно уступала место первым проблескам дня. Запели разноголосые петухи. В деревне заходили люди, послышались голоса, ржание лошадей. Белесоватый пар курился над землей. Наконец сделалось совсем светло, хотя солнце еще не вставало. Я приказал снять полевые караулы и собрать их около дороги. У всех были истощенные и побледневшие после бессонной ночи лица. Сырой утренний ветерок пронизывал до костей и заставлял дрожать. Но едва мы пришли в деревню и успели выпить по кружке чая, как уже снова пришлось собираться в поход, так как полк получил приказание выступить в 6 часов утра.

Было 13 августа. На небе ни облачка. Уже с утра солнышко начало припекать. Переход предстоял нам около тридцати верст до деревни, где мы должны были ночевать. Первое время мы двигались по шоссе, которое пересекло железную дорогу с разрушенной станцией и поло-

манными стрелками. Местность была неровная. Мы то спускались вниз, то забирались на высокий холм, откуда открывалась широкая перспектива на далекие синие леса, на испещренные темными, желтыми и зелеными полосами полей возвышенности, на которых лепились то на скате, то в лощине, то на самой вершине небольшие серые деревушки и хутора. При виде этой картины я радовался от сознания того, что часть богатой неприятельской земли, оставшейся позади нас, уже по праву принадлежит нам. Ах, если бы я знал в тот момент, что не пройдет и года, как все это мы отдадим врагу так же легко, как и завоевали!..

Когда мы прошли верст десять, нашего слуха коснулся какой-то неясный, глухой звук, подобный раскатам далекого грома. Звук этот то трепетал в воздухе, то вдруг умолкал с тем, чтобы опять возобновиться. Сомнения не было, это доносилась орудийная канонада – страшный предвестник военной грозы. С каким-то непонятным, приподнятым, но в то же время жутким чувством я прислушивался к этим пока еще нежным звукам, похожим на рокот волн… Я прислушивался к ним, как прислушиваются к радостному пасхальному звону, но только с большим волнением, с большим подъемом души, в которой зазвенели какие-то новые, неведомые струны…

Мы шли, изредка останавливаясь на короткий привал. Гром орудий становился все явственнее. Но мы уже не обращали на него внимания, потому что, с одной стороны, слух уже привык, а с другой – было не до того, так как мы начали испытывать большое утомление.

Около одной деревушки, раскинувшейся на берегу небольшого озера, наш батальон, шедший в авангарде, остановился немного передохнуть. К дороге примыкала небольшая зеленая лужайка, на которой особенно приятно было растянуться и полежать хоть несколько минут, закрыв лицо руками от жгучего солнца. Штабс-капитан Василевич отъехал немного назад для того, чтобы посмотреть, далеко ли еще идут главные силы нашего полка. Между тем находившиеся впереди нас роты авангарда поднялись, пошли и вскоре скрылись за ближайшим леском. Штабс-капитан Новоселов этого не заметил и спокойно продолжал смотреть вдаль. Когда я подошел к поручику Пенько и сказал ему, что мы оторвались, то он мне иронически ответил:

– Ну что ж, это дело ротного командира, пусть не зевает по сторонам.

Зная о тех чувствах, какие питали друг к другу эти два человека, я не удивился едким словам поручика Пенько. Возвратившись к роте и увидев ее одну посреди поля, штабс-капитан Василевич заволновался и очень обиделся на нас и особенно на поручика Пенько за то, что мы его не предупредили об уходе авангарда. Штабс-капитан Василевич, желая поскорее догнать ушедший вперед батальон, приказал двигаться быстрым шагом, подгоняя плеткой отставших. Измученные люди почти бежали, напрягая последние силы. Однако никаких следов авангарда мы не встречали, точно он в воду канул. Правда, местность была так богата всякими лощинами, кустарником, рощами, деревушками, что в ста саженях могли бы легко не заметить целого батальона. Кроме того, дороги расходились в разные стороны, и вот нам требовалось угадать, по какой именно пойти, чтобы нагнать авангард. Наобум мы свернули вправо и вышли на бугор, но вокруг не видно было ни одной души, и только собаки отчаянно лаяли в соседней деревне. Солдаты сбились в кучу, как стадо баранов. Кто прилег, кто стоял, опираясь обеими руками о ружье. У всех на лицах было написано большое утомление, но в то же время легкая тревога, вызванная тем, что мы, очевидно, заблудились. Да, заблудиться в чужой, незнакомой стране, почти под носом у противника – это, конечно, довольно неприятно и даже, можно сказать, жутко. Но, видно, и сам ротный командир немного растерялся. Левее, за следующим бугром, поднималась небольшая пыль. Мы с ротой пошли в этом направлении и вскоре втянулись в большую деревню, через которую пролегала широкая дорога. Мы двинулись по ней. В это время в костеле начали тревожно, как на пожаре, звонить в колокола. Было очевидно, что какой-то добросовестный житель этим знаком предупреждал кого следует о движении русских войск. Но благодаря усталости мы не обращали внимания на звон и безостановочно двигались по извилистой дороге, которая, выйдя из деревни, потянулась по узкой лощине между двумя

высокими и длинными сопками. Едва мы миновали деревню, как мимо нас во весь дух промчался верхом казак, везший какое-то, очевидно, донесение, а вскоре мы увидели двигавшуюся навстречу нам по той же дороге кавалерийскую колонну. Запыленные и молодцеватые на вид драгуны с шапками набекрень, с длинными пиками в руках ехали спокойным шагом по трое в ряд, поднимая густую пыль. Я смотрел на них с тайным восхищением и уважением, как на людей, испытавших нечто, чего я еще не испытывал и что предстояло мне еще испытать. Это и была именно та лихая дивизия, которая, как рассказывал мне в местечке Янполь штабс-ротмистр, наголову разбила австрийскую кавалерийскую дивизию. Посреди колонны, громыхая орудиями, ехала конная батарея. Я остановился и спросил у первого попавшегося драгуна:

– Ну что, брат, как дела?!

– Да ничего, слава богу, ваше благородие, – отвечал тот, придержав заигравшую вдруг вороную лошадь. – Можно сказать, здорово попало австрияку. Он хотел нас окружить и пустил много сил, а наша батарея как зачала по ём крыть, так, сдается, тыщи две али три положила. Оченно метко била наша батарея…

– Так чего же вы отступаете?! – горячо воскликнул я, возбужденный рассказом драгуна.

– А он, вишь, послал на нас пехоту, ну а супротив пехоты нам нельзя идти… Теперь ваш черед настал. Тут недалече до их, версты две-три, не боле…

Драгун тронул шпорами лошадь в бока и поехал догонять своих, а я пошел вперед, с трудом передвигая ноги. Наша рота растянулась чуть не на версту. Люди шли по одному, по два, согнувшись, тяжело вздыхая и вытирая изредка рукавом пот с лица, которое пыль покрывала, как пудрой. А по дороге все еще двигались стройными рядами лихие драгуны. Сквозь топот сотен копыт, фырканье разгоряченных лошадей слышались веселые голоса и смех. Колонна кончалась. В хвосте ее, поскрипывая плохо смазанными колесами, ехали три телеги, убранные зелеными березовыми ветками. Сквозь их трепещущие от ветра листья выглядывали строгие, запыленные и побледневшие лица раненых драгун. Некоторые лежали с обвязанной головой, другие сидели с перевязанной рукой, поддерживая ее здоровой, чтобы смягчить толчки и тряску телеги. При виде этих первых русских раненых меня охватило благоговейное чувство, чувство, в котором были уважение к ним и даже тайная зависть за то, что они уже принесли священную жертву, пролили свою кровь… Но наряду с этим высоким чувством где-то глубоко в тайниках души шевельнулось другое, смутное чувство, это чувство ужаса перед теми страданиями, страшным призраком смерти, перед теми слезами и проклятиями, на арену которых меня бросила неотвратимая рука судьбы… И, как бы вторя этим дрогнувшим в глубине моей души струнам, где-то недалеко впереди, за лесом, пронеслись раскаты орудий, подобные могучему прибою волн. Сердце забилось сильнее. Я сознавал, что начиналось что-то необычайное, великое и таинственное помимо меня, моей души. Начиналось то, к чему стремилась моя душа в течение нескольких лет, что составляло для меня заветную мечту. И вдруг новое чувство бодрости, решимости и энергии, как целительный бальзам, распространилось в моем утомленном от похода и жары теле. Я забыл об усталости, жажда перестала меня мучить. Я шел вперед, обгоняя солдат, желая поскорее догнать голову своей роты. Я с трепетом прислушивался к грому орудий, который временами рокотал в разреженном, раскаленном воздухе, и мною все больше и больше начинало овладевать то особенное лихорадочное состояние, какое бывает у человека перед боем. На краю деревни наша рота догнала, наконец, свой батальон. Он так растянулся, что никто и не заметил, как мы оторвались. Командир батальона подполковник Бубнов остановил батальон на короткий отдых. Отставшие солдаты, едва волоча ноги, доходили до своих рот и падали в изнеможении как подкошенные на пыльную дорожную траву. Мучительная жажда томила всех, но в деревне нельзя было брать воду, так как боялись, что она отравлена.

Воспользовавшись маленькой остановкой, поручик Пенько подозвал своего денщика с косым глазом, разбитного и смышленого, и приказал ему вынуть из сумки курицу, которую тот

сварил еще утром для похода. Поручик Пенько был, как всегда, веселый. Утомительный поход на него нисколько не подействовал. Даже, скорее, наоборот: лицо загорело, запылилось и сделалось еще мужественнее. А его фигура – плотная и немного сутуловатая, в простой солдатской рубахе и шароварах защитного цвета, с цейсовским биноклем сбоку – выдавала в нем хорошего боевого офицера. Он говорил о предстоящем бое так непринужденно, так легко, что казалось, речь идет не о таком деле, где будет потоками литься невинная человеческая кровь, где будет носиться ураган смерти, а так, о каком-то пустяке. Он не сомневался в том, что австрийцы побегут при малейшем натиске русских войск. Так же просто, как и говорил, поручик Пенько разломал курицу на несколько частей и предложил мне одну. Он очень был удивлен и даже, кажется, обижен, когда услышал мой отказ. Правда, с самого утра мы ничего не ели, но мне было не до еды. Поручик Пенько, конечно, не мог знать, какие сложные чувства в тот момент меня наполняли. Он истолковал по-своему мой отказ, вслух заявив, что действительно перед боем не следует ничего есть, так как если пуля попадет в наполненный пищей живот, то рана будет, безусловно, смертельна. Однако это соображение не помешало ему с аппетитом уничтожить чуть не полкурицы.

– Можете пожалеть, что не попробовали, – обратился он ко мне с добродушной улыбкой, вытирая руки носовым платком. – А если бой будет продолжаться…

Но в это время послышался голос командира батальона:

– Господа офицеры, ко мне!

Мы сгруппировались около подполковника Бубнова, рассматривая карту, на которой он обвел карандашом участки рот для обороны в случае, если противник сам перейдет в наступление. Твердым, спокойным голосом отдав все нужные указания и распоряжения, подполковник Бубнов приказал двигаться дальше. Батальон начал собираться, чтобы перейти на лежавший впереди хребет и там окопаться, а полуротам нашей и 3-й роты было приказано остаться на месте в резерве. Штабс-капитан Василевич назначил вторую полуроту под моим начальством. Через минуту батальон, сверкая штыками и поднимая пыль, уже двигался колонной по дороге, которая сначала полого спускалась в широкую лощину, уставленную скирдами хлеба, и затем поднималась на противоположный гребень и там терялась в синеватом темном лесу. Видно было, как батальон, спустившись в лощину, свернул вправо и, отойдя от дороги шагов четыреста, остановился у подошвы возвышенности. В это время ко мне подскакал на взмыленном белом коне полковой адъютант и торопливо спросил:

– Где командир батальона? – Я молча махнул рукой по направлению к высоте. – По приказанию командира полка поручаю вам передать подполковнику Бубнову чтобы он со своим батальоном безостановочно продолжал движение по указанному маршруту.

Сказав это, адъютант круто повернул коня и ускакал. Я, молодой, как называли нас тогда старые офицеры, «фендрик», был польщен тем, что на мою долю выпала честь передать приказание высшего начальства. Кроме того, сознавая важность этого приказания, я сказал прапорщику Ракитину вести полуроту на присоединение с первой полуротой, а сам схватил лошадь штабс-капитана Василевича, бывшую в тот момент им не занятой, и во весь дух напрямик через вспаханные поля помчался туда, где виднелся наш батальон. Лошадь поминутно спотыкалась в рыхлой земле, тяжело дышала и чуть не падала. В то время я еще очень плохо ездил верхом и потому едва сидел в седле. Даже когда стремена выскользнули из моих ног и я в отчаянии ухватился за луку, даже и тогда прилив энергии у меня был так велик, что я начал хлестать лошадь плеткой, окончательно рискуя вылететь из седла. С некоторой картинностью я подскакал к командиру батальона и круто осадил лошадь. Спокойный, почти суровый вид подполковника Бубнова сразу укротил мой пыл, и я, невольно заражаясь его хладнокровием, старался как можно сдержаннее сказать, приложив руку к козырьку:

– Господин полковник! Командир полка приказал вам с батальоном безостановочно двигаться вперед.

Из-под насупленных серых бровей этого железного человека на меня смотрели строгие, горящие глаза. Он молча кивнул и отошел в сторону. Подъехав к своей роте, я слез с лошади и передал ее вестовому штабс-капитана Василевича. В это время вслед за гулом загремевших орудий до моего слуха донеслись откуда-то совсем близко два глухих отрывистых удара, очень похожих на пушечные выстрелы, но значительно мягче. Я оглянулся назад и увидел над лесом в нескольких сотнях шагов от нас два наполовину белых, наполовину красных облачка, которые медленно вытягивались, принимали различные причудливые формы и, наконец, растаяли в жарком воздухе. Это разорвались шрапнели. Такие невинные и нежные на вид, они несли с собой сотни смертоносных осколков. Втайне я испытывал удовлетворение. Вся обстановка пока представлялась именно такой, как рисовало мне раньше мое воображение. Все было налицо: и утомление походом, и жара, и голод, и ординарцы на взмыленных лошадях, и гром орудий, и рвущиеся снаряды… О, если бы я в ту минуту знал, что это только цветочки, а ягодки еще впереди!..

Подойдя к своей роте, я присел на зеленую травку около отдыхавших солдат, которые от усталости ничего не могли говорить. Я так же, как и все, не знал, куда мы шли, что предстояло нам сделать, близко ли, далеко ли противник. Ясно было одно, что надвигалось нечто страшное, могучее, неотвратимое…

Но вот нашего ротного командира попросил к себе подполковник Бубнов. Вскоре штабс-капитан Василевич вернулся от него со строгим, несколько возбужденным выражением на лице, подождал немного, пока подошла вторая полурота, приказал затем роте двигаться вслед за ним. Мы шли первое время по лощине, а потом, свернув налево, начали подниматься по вспаханному бугру. Утомленные солдаты шли беспорядочной толпой, согнув спины, кряхтя и сопя, с трудом вытаскивая из рыхлой земли ноги, обутые в тяжелые неуклюжие сапоги. Я тоже напрягал все силы, чтобы идти вперед, а не застыть на месте. Пот градом катился с моего лица. Устремив тупо глаза вниз, я молча шагал по пахоте.

– Фу-у ты, прости Господи! Никак не могу идти дальше, ваше благородие! – взмолился около меня какой-то солдатик с серой от пыли бородкой и жесткими, торчащими книзу усами, видно, запасной.

– Так точно, ваше благородие, оченно тяжело по «его» земле ходить, больно много гор… – проговорил кто-то сзади.

Усталость и нервный подъем взяли свое, и я крикнул с раздражением:

– А вы думаете, мне легко?! Черт с вами, оставайтесь, кто не может больше идти, а мы пойдем вперед умирать…

Эта вырвавшаяся горячая, но искренняя фраза, видно, подбодрила солдат. Они умолкли и медленно, но ни на шаг не отставая, плелись вокруг меня, тяжело дыша и вытирая с лица пот. Наконец, мы забрались на вершину холма и, взглянув вперед, застыли на месте. А впереди, на расстоянии версты, на гребне противоположной возвышенности виднелись темные массы каких-то людей, проектировавшихся на фоне белесоватого от зноя неба. Эти толпы, подобные тучам саранчи, занимали почти весь гребень и находились, казалось, тоже в оцепенении. Мы все молча смотрели вдаль на темные колонны и в первое мгновение думали, что это наши войска, не предполагая, чтобы австрийцы могли быть уже так близко. Но вдруг эти людские волны зловеще заколыхались, большие массы раздробились на мелкие группы, в разных направлениях задвигались какие-то точки, на гребне, таким образом, все зашевелилось, и через минуту отчетливо было видно, как выделялись длинные цепи и быстро задвигались в нашу сторону, делая перебежки.

– Ваше благородие! «Он» наступает! – с оттенком ужаса воскликнул один из солдат.

Сомнения не было, противник действительно перешел в наступление. В этот момент к нам подскакал на хрипевшей, взмыленной лошади казак и взволнованно подтвердил то же

самое. Все засуетились. Послышались какие-то дикие голоса вроде «Ребята, ложись!..» или «Ховайся (прячься) за скирду!..»

В первую минуту я сам очень заволновался и почувствовал, как лихорадочная дрожь пробежала по моему телу, а сердце молотком застучало в груди. Увидев, что командир 4-го взвода прапорщик Ракитин отдает моей полуроте, оставленной штабс-капитаном Василевичем в резерве, какие-то распоряжения помимо меня, я не сдержался и закричал:

– Прапорщик Ракитин! Потрудитесь исполнять мои приказания, так как здесь полуротой распоряжаюсь я, а не вы!

Я бросил ему эту фразу не потому, что желал его осадить, а потому, что заметил паническое настроение солдат, испуганных неожиданным появлением и наступлением врага, и каким-нибудь энергичным действием хотел вернуть их к спокойствию и порядку. После этого я приказал полуроте рассыпаться в цепь и залечь тут же, на сжатом поле. «Вот оно начинается…» – промелькнуло у меня в голове, и я, сняв фуражку, прочел молитву, которую дала мне мать перед отъездом на войну.

Многие солдаты истово крестились. Мы лежали на откосе, обращенном в сторону противника, так что нас было видно как на ладони. Перед нами пролегала широкая с деревней Жуковом посредине лощина, отчасти закрывавшаяся нашему взору небольшим бугорком, лежавшим впереди нас в нескольких десятках шагов и вдававшимся в нее наподобие полуострова. Благодаря этому выступу была видна только часть деревни Жукова. Первая полурота со штабс-капитаном Василевичем и поручиком Пенько залегла немного правее выступа. Оттуда то и дело слышались нервная ругань поручика Пенько и его громкие команды:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.